

Михаил Стельмах Над Черемошем Гуцульские мотивы

Пусть дружба, пусть верность растет!
(Из уст народа)

Упругий верховинский ветер настраивал осенние леса, и они, перемежая солнце и тени, гнали по синим ступеням гор в Черемош свою вечнозеленую музыку. И река, вздуваясь, тоже пела, только еще звонче: из шлюзов уже забили седые водопады, раскачивая плоты.

С берега прыгнул на плот стройный, черноглазый средних лет гуцул. Он, горделиво откинув голову, посмотрел на солнце, весело прищурился. А возле него уже стояли двое парней — Иван Микитей и Василь Букачук.

Озерные воды подняли реку, и она образовала теперь три гигантские ступени: сверху — озеро, ниже — воды, только что спущенные из шлюзов, и в самом низу — еще не обводненная паводком извилистая быстрина, иссеченная кругляшами серых камней.

— Не пора ли, Микола Панасович? — то и дело спрашивают молодые гуцулы.

— Обождем еще минутку, — отвечает Микола Сенчук, зорко глядя вниз по течению. — Плот может обогнать прибывающую воду. Почему я у тебя, Василь, на ногах раков¹ не вижу?

— Хочу, как вы, без железа плыть.

— Вот как? — Сенчук покосился на Василя. — Сегодня у нас дорога трудная, а плот большой, без железа плыть не решаю.

Василь, присев на корневище вековой пихты, принялся быстро затягивать ремнями кожаные лапти — постолы. Потом вскочил, громыхая скобами, умело пробежался по плоту.

— Готовься! — Микола Сенчук подошел к рулю.

Он раз и другой с силой ударил по воде тяжелым веслом, и в такт ударам на груди у него закачались боевые награды.

— Так и зазвенели! — вырвалось у молодого плотогона Ивана Микитея.

Он подмигнул светлой бровью своему другу, смуглому красавцу Василю, и оба дружно заработали веслами.

Плот, поскрипывая, неуклюже выгибает все свои клетки, затем выравнивается, набирает стремительную скорость. Плотогоны срослись с рулевыми веслами в едином напряженном ритме, и плот, скользя меж высоких извилистых круч, скрежещет, гудит, задевая на поворотах «кашицы» — деревянную обшивку берегов.

— Счастливого плавания! — провожающие машут со шлюза широкополыми шляпами.

— Счастливого плавания! — кричит отцу с берега семилетний Марко Сенчук.

За плечами у него сумка с книжками, с шеи свисает на веревочке карандаш, в руках резная палочка. Чем не гуцул!

— Счастливо, сынок! — ответил Микола Сенчук, любуясь сыном.

Мальчик долго бежит за плотом, но крутые повороты разлучают его с отцом, и он замедляет бег. Славно вокруг, и нигде ни души. Только волны шумят, дробя солнечные лучи, да сверху, подстерегая добычу, широко распластал крылья коршун. Марко, подражая движениям плотогонов, громко поет зеленым лесам и Черемошу песню, которую он перенял у отца:

А я гуцул верховинец,
Крысаня, кити¹цы².

¹ Раки — здесь: железные скобы, надеваемые на обувь для устойчивости.

² Национальные уборы гуцулов. Крысаня — широкополая войлочная шляпа; кити¹цы² — гарусные

Лес гоню по Черемошу
До самой Выжницы.

Позади послышался цокот копыт. Марко оглянулся, узнал всадника, поморщился: это толсторожий Наремба, который все точит зубы на отца. Положим, отец не боится Нарембы и не щадит его ни на собраниях, ни в сельсовете. Под Нарембой споткнулся конь. И без того злое лицо всадника стало еще злее. Он выхватил из-за пояса топорик и, вертя им, принялся колотить вороного по бокам. Конь заржал и помчался. Воровато оглядевшись вокруг, Наремба направляет вороного прямо на школьника, вот-вот подомнет его. В последнее мгновение Марко отскакивает в сторону и с вызовом бросает вдогонку Нарембе:

А я гуцул-верховинец,
Крысая, кити!´цы!

— Не гуцул ты, а большевичонок! — огрызается через плечо Наремба.
— И гуцул, и большевичонок! — смеется Марко. — А вы кулак и элемент.
— Я тебе дам элемента! — Наремба круто повернул вороного, но в это время из-за поворота вылетела легковая машина, и всадник галопом усакал вниз.

А я гуцул-верховинец...

распевает Марко и орудует палкой так же искусно, как его отец веслом.
— Добрый день, гуцул-верховинец! — выскакывая из машины, приветствует его секретарь райкома Михайло Гнатович Чернега.
— Доброго здоровья, дядя Михайло! — радостно здоровается Марко. — Вы на собрание или к отцу?
— И на собрание, и к отцу, и к тебе.
— Да-а?
— Конечно!
— А я вам зачем?
— Споем вместе твою коломыйку.
— Да-а? — Марко недоверчиво покосился, стараясь понять, не смеются ли над ним.
— Конечно!
— Что ж, споем...
И вот уже песня откликается эхом в горах. Это идут, распевая, Михайло Гнатович и маленький гуцул. А им подпевают, как умеют, леса и реки.
Михайло Гнатович посмотрел на часы, остановился.
— Пора на собрание? — спрашивает Марко.
— Пора.
— Насчет коллективизации?
— Насчет коллективизации.
— Тогда возьмите и меня.
— Да-а?
— Конечно! — в тон отвечает Марко.
— И в кого ты такой уродился? — смеется Чернега.
— В отца, — ответил мальчик, подумав: «Он уже далеко теперь».

* * *

Утром плотовщики спустились с осенних гор в зеленую по-летнему долину Покутья.

По ней, озаренные розовым отблеском, зашагали свежие столбы; электромонтеры, взобравшись на них, натягивают первые линии проводов, и их сразу же облепляют птицы.

— Ишь ты, как спешит Илько! — изумленно говорит Сенчук и поворачивает плот к берегу.

Навстречу горцам бежит высокий, широкоплечий Илько Палийчук. Он одет по-праздничному. На груди боевые ордена и медали.

— Братец Микола! Здорово, родной! Да ты, я гляжу, молодеешь! — восклицает он, обнимая Сенчука. — Привезли?

— Привезли! Вот и я с ребятами приехал посмотреть, как ты тут живешь и орудуешь. Зашумит наш гуцульский лес у вас на электростанции.

— Зашумит и засияет. Еще как засияет! Нигде в наших горах нет такой электростанции.

— Так уж и нет? — смеется Сенчук, зная характер друга. — Еще не выстроил, а хвастаешься.

— Да ведь есть чем! Вот пойдешь — увидишь!

Навстречу мчится маленький Василько, сын Палийчука.

— Здравствуйте! — кланяется он плотовщикам — и кричит отцу: — В котловане вода взбесилась. Как ударит из-под земли, как забушует! Весь котлован затопило. Люди не знают, что и делать.

Гуцулы, переглянувшись, побежали к рукаву Черемоша. Первым встретил их лысый, морщинистый дед Шкурумеляк.

— Илько, электричество твое вырвалось из-под земли, кипит, клокочет, а светить не хочет, — смеется старик.

Возле котлована сгрудились люди. Небольшой насос надрывно захлебывается, не в состоянии справиться со студеной силой подземных ключей. Палийчук для чего-то коснулся рукой насоса, покачал головой и с разбега прыгнул в котлован.

— Илько, ордена почернеют! — забеспокоилась Ганна, жена Палийчука.

— Еще лучше заблестят! — ответил он, быстро выливая ведром воду.

— Иван! — Василь Букачук глянул на друга, и оба вслед за Сенчуком бросились в котлован.

— Ох, и пробирает стужа, до самых косточек, — морщится в воде рослый Тымиш Шугай.

Сверху над гуцулами нависает лысина Шкурумеляка.

— Вижу это электричество, вижу, как его ведрами таскают! — хохочет старик. — Ей-богу, напиток им можно, а засветит оно тогда, когда на моей лысине завьются молодецкие кудри.

Палийчук как бы невзначай плеснул на Шкурумеляка водой из ведра, тот отскочил от котлована, обиженно вытащил из кармана размокшую газету.

— Испортил мне все чтение. Тоже... культура!

— А настроение портить — это культура? — смеется Шугай.

— Настроение денег не стоит, — отрезал старик.

— Ганна, бегом за водкой! — неутомимо вычерпывая воду, крикнул Палийчук.

— Сколько взять?

— Сколько донесешь!

— Для этого электричества, Ганна, и спиртозавода не хватит, — покачивает головой Шкурумеляк. — Не натаскать тебе, Ганна, водки.

— Так помогите, — ласково улыбнулась женщина.

— Помочь? — задумался старик. — Тебе — пожалуй. Я и на выборах за тебя, а не за Илька голосовал. Вот он и обливает меня водой...

Вечером, при свете фонарей, у котлована, уже обшитого просмоленными бревнами, гуцулы выпивают по чарке.

— Через две недели, Микола, будет у нас электричество. Ровно через две недели.

Приезжай тогда, — хвастается Палийчук другу.

— Приеду, Илько. Осмотрю все твоё хозяйство.

— Хозяйство у нас и впрямь справное, — замечает Шкурумеляк, подходя. — Трудодни так и звенят. Только на что же их в это электричество загонять? Ты, Илько, сердись не сердись, а я правду говорю! — и он воинственно задирает вверх клинышек своей бороды.

— Илько, не слушай моего старика: это он с пьяных глаз плетет, — вставляет Шкурумелячиha, дергая мужа за рукав.

— Поглядим, чей верх будет, — старик презрительно косится на жену и направляется к другой группе строителей, чтобы и там кинуть едкое словцо...

В работе и спорах незаметно бежали дни. Больше спорили старики, не веря, что из выдумки Палийчука что-нибудь получится. Однако и они часто навевались на рукав Черемоша.

Дед Шкурумеляк несколько дней не ходил на электростанцию, но однажды, поругавшись со старухой, решил сорвать злость на ком-нибудь из строителей. Язык у старика был остер, об этом знало все село, и деда не задирали. Надвинув шапку на уши, разгладив пальцами непослушную бороду, которая имела привычку нацеливаться на его противников, старик воинственно засеменил к Черемошу, наперед смакуя, как он будет поговорками да насмешками колоть колхозников и начальство.

Вечерело, с лугов возвращался скот, а на месте стада уже паслись низкие туманы. И вдруг перед самой улицей Шкурумеляк растерянно замер. На столбах вдоль села радугой зажглись лампочки; в окнах вспыхнул свет, маленькая электростанция засияла красочным венком. И эти веселые огоньки смыли со старика весь воинственный пыл. Встревоженно обернувшись, он побежал домой, с грохотом отворил дверь. На шестке подслеповато мерцает плашка, перед почерневшими иконами едва теплится лампада.

— Старуха, почему же это у нас не как у людей — света нет?

— А ты разве не знаешь? — съехидничала жена. — Таким, как ты, насмешникам да придирам не провели электричество, да еще впридачу люди вас маловерами окрестили. Слышал такое паскудное слово?

— Что ж, выходит и пошутить с Палийчуком нельзя? Не доросли еще у нас молодые до настоящей шутки. — Старик нахмурился и, поведя бородой в сторону хаты Палийчука, заторопился в контору, раздумывая, как бы покультурнее поговорить с председателем.

В правлении колхоза Палийчук, окруженный толпой возбужденных от радости колхозников, говорил по телефону.

— Леспромхоз? Кто говорит? Нельзя ли вызвать из сельсовета Миколу Сенчука? Прошу. Очень прошу. — Лукаво подмигнув, Палийчук вытянулся по-военному и четко заговорил: — Товарищ командир, слышите меня? Докладывает бывший огневик вашего орудия... Есть уже у нас огонь, то есть электричество. Когда приедете в гости? Завтра вечером? Вот и хорошо. А послезавтра у меня собрание. Как себя чувствует дед Шкурумеляк?.. Говорят, все время жену ругает, что не позаботилась электричество провести. Выходит, она во всем виновата.

— Вот уж и неправда! — откликнулся с порога Шкурумеляк, и по всем углам раскатился хохот.

Старик хотел добавить что-нибудь еще, но все его едкое красноречие, как на грех, запропастилось куда-то, и он по-детски обиженно махнул рукой и выбежал из правления.

Когда хохот утих, Палийчук обратился к электромонтеру:

— Ты что, Данило, не провел, как я приказывал, деду электричество?

— Он надо мной три месяца издевался, так могу же я хоть на три дня одержать над ним верх, — возразил монтер.

— Проведи ему завтра — это и будет твой верх.

— Завтра никак не могу, надо в район ехать.

— Приедешь — проведешь, и не косись на деда: не пристало молодому человеку сердиться по пустякам.

На другой день в сумерки старый Шкурумеляк, держа подмышкой свежие газеты, пришел прямо в хату Палийчука. Потоптался у порога, делая вид, что тщательно вытирает ноги, а на самом деле высматривая, какое настроение у председателя, и пожаловался:

— Так у меня, Илько, глаза болят, так болят, что и небо с овчинку, — заявил он, поджимая рукой непослушную бороду.

— Что же, отвезти вас к врачу?

— Да мне и сам Филатов не поможет! Годы-то уж немолодые, столько десятков, что и за плечами не умещаются.

— Кто же вам может пособить? — спросила Ганна.

— Кто? Твой Илько.

— Я? — удивился Палийчук.

— А Шкурумеляк махнул рукой, решив больше не влиять.

— У меня, Илько, глаза от плошки болят... Проведи уж нам электричество, пускай твой верх будет, — и старик зачем-то потер ладонью лысину.

— Завиваются молодецкие кудри? — расхохотался Илько.

— Да, вроде пробивается что-то, — смутился старик.

Он понял, что электричество у него будет, и уже смело, с молодецкой ухваткой, рванул из кармана бутылку и стукнул ею об стол.

— Хочу, Илько, выпить за твое здоровье и упорство. Таким и я в молодости был... Вам о том и старуха моя скажет. Эго она подзуживала меня, что не будет электричества.

Илько и Ганна рассмеялись, а дед снова придержал рукой бороду и приложил палец к губам.

— Вы уж, смех, пожалуйста, на потом оставьте, а то кто-то сюда идет... О, да это Микола! — Старик поздоровался с Сенчуком. — Видал, видал, какое у нас электричество по всему селу?

— Видал, дедушка, только у вас почему-то окна едва-едва мерцают.

— Это, Микола, видно, моя старуха пораньше спать легла, — подмигнув Палийчукам, ответил Шкурумеляк. — Работает она культурно, при электричестве, а спит при лампадке...

* * *

Притихшую покутскую улицу разбудило довольное урчание машины, и окна клуба сверкнули резким грозovým сиянием. Причудливые, как гроздь винограда, тени от щедрой листвы придорожных молодых акаций упали на стекла, шевельнулись и поплыли.

Все это снова напомнило Миколу Сенчуку пробел в его выступлении: так он и не покритиковал своего друга за сад — и без того Илья Палийчук, краснея и бледнея, вертелся в президиуме, словно его посадили на старого ежа. Микола посмотрел на товарища и, хотя вид у того был едва ли не комичный, подавил вздох. Легко, ах, как легко от всей души хвалить друзей, — в их успехах ощущаешь частицу и своих дорогих сердцу дней, а может быть и свою работу, свои привязанности, то, что перешло к тебе от верных друзей, привилось, а теперь пригодится еще какому-нибудь доброму человеку. И как трудно критиковать, при людях крутым словом выправлять близких, — ведь в их ошибках часть и твоей вины. Ты недоглядел во-время, а теперь морщишься, отрываешь свое упущение, как репей, и от себя и от других. А отрывать трудно, особенно если у товарища такой нрав и такая душа, что ого больше тянет к крайностям, чем к золотой середине. Вот почему ты и не сказал о саде, а сказать об этом необходимо, и сегодня, ведь кто знает, когда ты снова спустишься сюда с подгорья³.

Учтивые гуцулы меньше критикуют Палийчука, и петушиный задор понемногу слетает с него. Нет, он все-таки недурной председатель!

³ Подгорье — нижние склоны Карпат.

Подумать только: тот самый бубенщик Илько, который в сороковом году бубном, как на праздник, созывал гуцулов на первое колхозное собрание, сегодня сам председательствует в молодом колхозе! И все же, из-за своего торжественного бубна, ты, Илько, забываешь порой о кропотливых, повседневных заботах, о том, что долго выращивают и что еще дольше живет.

Собрание закончилось, и Микола Сенчук уже собирался идти домой, в далекое горное село, когда к нему подошел распаренный от духоты и критики Илья Палийчук.

— Микола, ты мой гость? — обиженно смеясь глазами, с вызовом спросил он горца и покрутил золотистые кончики пышных усов.

— До сей поры был твоим гостем, а теперь не знаю, — спокойно ответил Микола и улыбнулся уголком рта. — Сердишься?

— Ясно, сержусь! Прийти к товарищу за тридцать километров, погостить денек, да и оставить хозяина на месяц в сердечном расстройстве! Вон моя Ганна — и та сбежала, не дожидаясь нас. Гляди, угостит она нас обоих на ужин холодными ухватами!

Вокруг засмеялись гуцулы, знающие характер председателевой жены, а Микола покосился на друга: хотя тот и шутил, но гордость его была ущемлена, лицо морщилось от досады, а внутри, должно быть, все кипело.

— Не легко сейчас председателю. Сенчук знал характер друга лучше, чем он сам, и заговорил, как бы извиняясь:

— Ты не сердись, Илько. В другой раз за тридцать километров хвалить приду.

— Э! Только хвалить? — недоверчиво переспросил Палийчук.

— Только хвалить, — серьезно заверил Микола.

— Вот это славно! — лицо Ильи оживилось. — Признаюсь, Микола, есть у меня слабинка: не люблю критических речей, а люблю, чтобы хвалили и колхоз и меня, — откровенно признался он. — Так когда ж ты приедешь с некритической речью, просто полюбоваться на нас?

— Когда будет чем.

— Думаешь, я от тебя друг ого слова ждал? — Глаза Палийчука, большие, как у соловья, вновь потемнели. — Хотел бы я поглядеть, каким ты станешь председателем.

— И приходил бы критиковать?

— На каждое собрание приезжал бы, на каждое собрание!

— Сразу виден характер.

— Что, опять не так? — удивился Илько.

— Не так. Зачем же тебе гонять ко мне коней на каждое собрание?

— А я на машине буду приезжать. На легковой, чтобы все видели, — сгоряча вырвалось у Палийчука честолобивое признание. — На собственной машине!

— И на собственном горючем?

— А что ж? На собственном!

— И на какие же деньги ты все это купишь? — насмешливо удивился Сенчук. — Неужто на выручку от редиски?

— А чем, спрошу, тебе редиска не угодила? Да тебе, с какой стороны ни погляди, ничем не угодишь, как моей теще. Повез я ее, люди добрые, в годовщину нашего воссоединения в Киев-столицу. Пускай, думаю, хоть на старости лет повидает человек такой город. Повез — и закаялся. Что ни покажу ей, она все свое: «Хорош, хорош Киев, а у нас в селе лучше». Да еще при людях, среди киевлян, говорит это, так что меня пот прошибает от стыда. «Сводите-ка ее, Илько, в театр, — посоветовали мне. — Услышит она оперное пение, увидит оперные красоты и замолчит». Послушался я. Купил билет в партер, в первый ряд, как раз возле того, кто музыкой командует, вертится с палочкой во все стороны. Сажу рядом с тещей, заслушался музыки, и радостно мне, что последовал доброму совету: у старухи-то моей слезы по морщинкам так каракульки и выписывают. «Ну как, мама?» — спрашиваю после представления. «Спасибо, сыночек, что повел меня в эту оперу, а то померла бы, не увидав такого театра. А ежели бы еще здешние артистки научились одеваться у наших

сельских, то и вовсе было бы хорошо». Полоснули меня эти слова ножом по сердцу. «Да чем же вам оперные наряды не понравились?» — «Коротки они, сынок. Товару у них, что ли, не хватило ноги прикрыть, или здешние портные так много себе отрезают?..» Так вот и ты, Микола, нападаешь на мою редиску, как теща на артистов. А ты знаешь, какая нам от редиски прибыль?

— Да, слышал на собрании.

— Ну, и что еще скажешь?

— Скажу одно: сада ты не посадил и сотки, а под редиску занял поле. Люди говорят — на редисочной ботве до базара живо доедешь, а до новой жизни вряд ли.

— Тыфу на такие слова! И близко с ними не подходи! Ни слышать, ни видеть не желаю.

Он мечтает, чтоб я за один год кабацкую синьку⁴ вырастил на продажу!

Губы Палийчука под роскошными усами задергались от злости, и он направился к выходу. Пригнувшись в дверях, остановился на миг, обмел шапкой притолоку и, уже сдерживаясь, бросил Сенчуку:

— Ты погоди минутку. Я скоро приду.

Но Сенчук не стал засиживаться в клубе.

Когда он вышел, на небе, возле самых Стожар, ветер крошил облако и оно распадалось, уменьшаясь, как льдина на синей воде.

Неподалеку в темноте рокотал голос Палийчука:

— Семен, у тебя машина готова? Повезешь в Гринявку... товарища оратора.

— Еще и вези его, такого языкастого! Пускай пешком отмахивает свои тридцать километров. Не велик праздничек погостил у нас, — ворчал хриплый тенорок.

— А ну, прищеми язык! — прикрикнул Палийчук. — Не понимаешь, кто такой Микола, так лучше заткнись.

— Так я же за вас душой болею, Илья Васильевич.

— Ты за машину болей! Вон заляпал ее по уши!

— Ну да, заляпал! Чистенькая, как куколка! — И шофер, явно подлизываясь к председателю, заговорил веселее: — А этот Сенчук, однако, оратор. И когда гуцул смог так выучиться говорить? Вот отчитывал, так отчитывал, словно не маленькую бумажку держал перед собою, а все наши поля развернул. С головой человек.

— Отчитывать — много голов найдется, а вот работать — поменьше, — обрезал Палийчук. — Я его тоже когда-нибудь так отчитаю, что только ой!.. Гляди-ка, редиска — и та стала ему поперек горла. А почему у него до сих пор колхоза нет?

— Э, Илья Васильевич, в горах трудней, куда трудней...

— А ты не учи председателя! Сам знаю, что трудней.

И вот уже высокий, размашистый в движениях Палийчук спешит к клубу.

— Микола, это ты? Пойдем ко мне, поужинаем, а потом поедешь.

— Ужинать я уже дома буду.

— А что мне Ганна скажет? Приведу тебя — отругает, и не приведу — отругает.

Славная у меня жена?

— Славная.

— Так почему ж тогда не зайти к нам... продолжить собрание? Погляжу, как ты вытерпишь критику Ганны!

— Передай ей привет... А может, не надо машины, Илько? Я привык пешком.

— Что? — обиделся Палийчук. — Пришел ко мне и хочешь командовать, как на батарее?

— Так ведь машина...

— У нее путевка в Яворов. Это по дороге.

— Ну, разве что в Яворов, — лукаво протянул Сенчук.

⁴ Кабацкая синька — высокий сорт зимних яблок.

На улице Илько стиснул Миколу тяжелыми руками батарейца и неловко, грубоватыми словами, попытался прикрыть владевшее им иное чувство.

— Ну, товарищ оратор из Гринявки, язык у тебя еще не затупился. Остер. Даже не знаю, сумеет ли похвалить кого-нибудь... Береги, себя, Микола, на подгорье. Бундзяка не поймали еще? Жаль. А если понадобится — стану перед тобой, как лист перед травой. Марка поцелуй...

Сенчук молча пожал руку товарища и на миг почувствовал, как рассеивается, пропадает странное ощущение, не оставлявшее его последние дни: очутившись в спокойной долине Покутья, он вдруг постиг, что всем существом стосковался по чему-то дорогому и неуловимому. Казалось, частица чего-то непостижимого выплеснулась из жил, и кровь замедлила, изменила свой привычный ток.

Подошли к машине.

— Микола, ну, критика критикой, а сам ты научился чему-нибудь у нас или нет?

— Научился. Выходы у тебя густые.

— Спасибо и за то. А нрав мой ты на собрании напрасно, напрасно задел. Что я сделаю, если горячим родился? Так уж бог дал, что мед — сладкий.

— Говоришь, мед — сладкий?! Так чего же он, как брага, пенится? Не зря я твой нрав задел. Я и сам умею вскипеть, рассердиться, как мальчишка. А тебе уже неприлично. Ты — председатель! Государственный человек! Интеллигент! А кричишь порой, прости, как извозчик! Зачем?

— Семен, вези скорей товарища оратора! — гаркнул Палийчук. — Погляжу, какой из тебя выйдет интеллигентский мед!..

Машина заворчала, бросила в ночь снопы света. Улица, обрамленная мастерски вышплетенными лозовыми плетнями, поднялась из темноты и качнулась нескончаемым мостом. Посреди дороги застыла с поднятой рукой женщина. Шофер что-то недовольно крикнул и нажал на тормоз.

— Не пора ли уже спать? — Он высунул голову из кабины и замолчал, узнав Ганну Палийчук.

— Удираешь от нас, Микола? — насмешливо спросила Ганна.

— Удирает, удирает, Ганна, — подойдя к машине, подтвердил Илько. — Даже поужинать не захотел с нами.

— А ты звал или так только сказал, для приличия?

— Сказал, как ты бы хотела, — отрезал Палийчук.

— Вряд ли! — улыбнулась женщина. — Так что же, Микола, едешь?

— По сыну соскучился, — соскочив на землю, ответил Сенчук.

— Тогда и уговаривать не будем. Только заезжай на минутку, возьмешь гостинец для сына. Не забыл он еще тетку Ганну?

— Не забыл.

— Так, выходит, уезжает от нас критика? — насмешливо и с сожалением обращается Ганна к Сенчуку.

— Уезжает, Ганна, дает дорогу похвале.

— А что же, и она придет, — уверенно говорит Ганна. — В прошлом году у нас достижений меньше было и трудодень меньше весил, а хвалили больше.

— И верно, больше! — подтверждает Илько. — А в этом году такая скупость на похвалы, точно их теперь со дна моря вылавливают. Удивительно!

— Не удивляйся, муженек. В прошлом году мы сделали меньше, меньше было и недостатков, если взять в расчет нашу молодость... А о садоводстве, Микола, позаботимся. Сам посуди, разве возможно: какого писателя ни считаешь — все пишут про сады, почему же не каждый председатель их сажает? Я думаю, на земле должно быть больше садов, чем в книгах.

— А ведь умеет моя председательша к месту слово вернуть, — не удержался от похвалы Илько.

* * *

Улеглись последние песни молодых парней, и теперь по улицам явственнее растекался гул воды и моторов. Хоть и не велика электростанция в селе, хоть и пропахла она сладкой кукурузной мукой, но гуцул любит ее красотой и работой, и никто уже вам не скажет: «Еду молотить на мельницу», а только — «поеду на электростанцию».

Это новое здание, обрамленное манящим венком из разноцветных лампочек, было слабостью Палийчука. Дня не проходило, чтобы он не забрел сюда, не послушал бы с удовольствием шум воды и машин.

Палийчук, выходя с электростанции, улыбнулся и положил тяжелую руку на плечо жены, размышлявшей, как лучше поговорить о сегодняшнем собрании. Ганна без слов поняла, о чем думает муж.

— Радует меня этот гул, как мальчишку.

— Это потому, что в нем бурлит твоя отвага, Илько. И куда ее ни приложишь, всюду будет радость. Правда?

— Правда, — кивнул Палийчук и покосился на жену. «Вот хитрющая, словно бы и не говорила ничего, а сказала все». И он задумался, охваченный очарованием нового дела и новых дней.

И уже вдыхал запахи яблоневого цвета, видел молодые деревца, облепленные розовыми лепестками.

Подходя к дому, Палийчуки заметили во всех окнах яркий свет.

— Посмотри, Ганна, кто-то без хозяев хозяйничает. — Илько перепрыгнул через перелаз и подал руку жене. — Не родня ли сошлась после собрания на заседание?

— Верно, родня, — не выразив удивления, согласилась Ганна, прислушиваясь к говору, доносившемуся из хаты.

Илько осторожно заглянул в полуотворенное окно. В хате расположились, как дома, ближайшие родственники и друзья, а также дед Шкурумеляк и все члены правления, которые когда-то голосовали за то, чтобы избрать председателем колхоза Илька.

Это ночное посещение растрогало Палийчука: «Болеют люди за колхоз».

— Говорить будем осторожно. И так взбудоражили человека на собрании больше, чем надо, — наставляет собравшихся рослый Тимко Шугай.

— Всех взбудоражил Сенчук. И хорошо сделал, а то, выходит, мы привыкли к своим недостаткам и только отмахиваемся от них, как от мух, да почесываемся, а не исправляем, — подает голос хитрец Пилип Яцков.

— Что ж вы об этом на собрании не сказали?

— А у меня свой метод воспитания.

— Какой?

— Не всякого человека надо распекать при людях. То же самое можно сказать тихонько, деликатно, среди своих. И, к примеру, Илько, если погладить его по шерстке, лучше сделает, чем ежели ему по волоску вихры выдирать. Я за индивидуальный подход к критике.

— Илька можно и больше пощипать, — бросает Иосип Коровай.

— Замолчи... морганист! — внезапно ввернул ученое словечко Шкурумеляк, и взрыв хохота потряс хату. — Электричество кто провел? Пруды кто завел? А в амбарах не трещат закрома от зерна? А едите вы кукиш с маком или коржи с маком? По правде сказать, на Илька и солнцу глянуть приятно: лицом красавец, грудь в орденах и медалях, да еще партийный. Я на вашем месте на руках бы его носил!..

— Этак у нас, дедушка, рабочих рук убудет, — съехидничал Коровай.

— Языка бы у тебя убьло! Вырос он с лопату.

— Да будет вам! Сцепились! — унимает спорщиков Тимко Шугай. — Мы сюда не ссориться собрались, а расти... — и замолчал, увидев появившихся на пороге Илька и Ганну.

— Продолжаем собрание? — весело спросил Илько.

— Какое там собрание! — отмахнулся, подходя к нему, Пилип Яцков. — Мы пришли сказать, чтобы ты, Илько, не принимал близко к сердцу слова Миколы Сенчука. Разве это критика? Это черт-те что, а не критика...

— По шерстке, Пилип, хочешь погладить? — засмеялся Палийчук. — Нет, Микола правильно распекал меня... Стало быть, поговорим, как исправить недостатки. Все выложим, по совести.

Все облегченно вздохнули, засияли улыбки. Дед Шкурумеляк торжествующе поднял голову и, кинув убийственный взгляд на своего противника, спросил:

— Ну, Иосип, как твое политико-моральное состояние?

* * *

За селом поплыла мгла бескрайных осенних просторов. Ночью они казались красивее, чем днем: не рябило в глазах от пожелтевших межей, убогих полей, которые насели на землю, как беды, нескладно распестрив ее заплатками.

Из-за тучки хлынуло золото лунного света, и густо застроенное покутское село закружилось в привольной пляске. Опершись на кабинку, Микола попыхивал трубкой, вглядывался в изменчивые просторы, думал о них и о своем подгорье, а в крови все не хватало чего-то и словно прохватывало ознобом.

У Гринявки дорога стала круто подниматься. Сенчук попрощался с шофером и вышел на узенькую горную тропу. Над нею сплетались влажные кусты орешника, и во мгле пахло сырой грибницей, пихтовым семенем и лесными орехами.

Внизу пенился и шумел едва различимый Черемош; скупая россыпь звезд, промытая шумливыми струями, неясно обозначала линию реки.

И человек вдруг встрепенулся. Вот о чем исподволь тосковала душа — о певучем шуме Черемоша! Сердце забилося сильнее, и Микола стал весело подыматься на гору, где, как табунщики в ночном, задремали несколько гуцульских хаток. И вдруг они точно проснулись: на окнах вспыхнули отблески луны, а по земле потянулись длинные тени.

Еще с порога Микола услышал ровное дыхание сына, и добрая, смущенная улыбка тронула его суровые, чуть скорбные губы. Не зажигая огня, он подошел к постели, склонился над изголовьем Марка.

Белокурый, высоколобый мальчуган, казалось, даже во сне думал о чем-то. Под глазами у него лежали тени по-девичьи длинных ресниц. Такие же длинные и черные ресницы, такие же прихотливо изогнутые брови были у матери Марка, а все остальное досталось в наследство от отца.

— Счастье мое! — Микола со вздохом поцеловал ребенка в головку и все не мог наглядеться на свое чудо чернобровое, без которого и человек не человек и мечты бесцветны.

Чего только не желал бы он вложить в своего Марка! Все, чего сам не достиг в жизни (украденную молодость не вернуть!), достигнет Марко, все, что ему только приоткрывалось в замыслах и в сказках, раскроется перед его Марком.

«Счастье мое!» — сколько необычайного отцовского чувства, надежд вкладывается в эти обычные слова; тот, у кого не было детей, вряд ли поймет это.

Марко повернулся, пошевелил губами и спросонья позвал отца.

А тот замер, чтобы не разбудить сына неосторожным движением. Потом на цыпочках отошел, зажег свет. На столе лежала записка секретаря райкома.

«Микола Панасович, привет!

Опять не застал тебя.

Поднимался на твою поэтическую гору, побывал у жителей вершин, а потом бродили с Марком над Черемошем и вместе пели песенки. Не часто выдается такая благодать. Обрати внимание: у Дмитра Стецюка очень убитый вид, — верно, националисты запугали. А

Настечка его молодец. В Жабьем встретил молодого агронома Григория Нестеренка. Он будет у нас работать. Хотел его подвезти — отказывается. «Пройдусь, говорит, пешком: хочу увидеть Гуцульщину во всей красе». Ну, думаю, раз речь идет обо всей красе, так машина ног не заменит. Вероятно, завтра прибудет в Гринявку. Захватил тебе «Белую березу», «Виноградарство» и «Справочник садовода», а Макаренка не достал. На собрание приеду.

М. Чернега»

Микола бережно подержал в руках каждую книжку и положил их в большой шкаф, который он в часы досуга смастерил по своему вкусу и украсил строгим гуцульским узором. Это была самая дорогая вещь в хате.

Погасив свет, Микола скоро уснул. Сквозь чуткий сон пробивался шум пенящейся реки и пихт. Ночью Микола несколько раз просыпался, прислушивался, как камни срывались с горы, катились и затихали в Черемоше.

«Камень падает к дождю».

* * *

...Утром и в самом деле прошумел дождь, а потом тучи стали подниматься. Вот они побежали по вершинам гор, за ними катились круглые, будто нарисованные озера лазури. На горах, как нечто чуждое этому миру, нереальное, выступал в фантастическом сиянии монастырь. Пихты стояли с таким видом, точно умоляли помочь им спуститься поближе к людям, уйти от необычайной для глаза желтизны и необычайного соседства с облаками.

Пока на дворе варился немудреный завтрак, Микола из сухого брусочка вырезал сыну ручку. В руках мастера брусочек стал оживать, по дереву побежали веселые гуцульские узоры, засмеялись голубые глазенки бисера. Микола слегка попробовал ручку на звук, и она защебетала, как маленькая птичка, которая когда-то пела на ветках этого дерева.

Каждое изделие рождает мысли о других, еще лучших, — это и называется, вероятно, ступенями мастерства.

Микола, войдя в овин, долго любовался выдержанными, звонкими грушевыми бревнами.

Семьдесят лет назад срубил их дед Миколы, Максим Сенчук, в надежде вырезать из них самое радостное творение своих рук. Но счастье не заглянуло и в гости к мастеру. Судьба обделяла радостью горы, обделила ею и упрямого резчика. Изделия Максима скитались по далеким Парижам и Лондонам, заплывали в Америку и, купленные на шумных торжищах, оседали в богатых и холодных, как лягушки, дворцах. А в хате Максима оседали горе да беда, и гордый гуцул бился с ними мозолистыми руками, чтобы вырвать ломоть черного хлеба для детей.

На это ушла жизнь, и в наследство детям отец передал любовь к труду, звонкие дерево и неусыпную мечту: вырезать то, чего не мог вырезать он.

А дети Максима помучились на горе и уехали вслед за работами отца — за океан. Так и не довелось им увидеть чудесное создание отцовских рук, да и самую Гуцульщину: Америка отняла у них молодость, высосала, как мозг из костей, юную силу, а самые кости выкинула на кладбища, заросшие бурьяном.

И Миколе достались, как наследство поколений, чуткие к резьбе руки и драгоценное дерево. Верно, ни один богач не любовался так своими сокровищами, как Микола даром деда. А приступить к работе все не отваживался. Думал о ней, жил ею, видел ее во сне и снова обдумывал. В тот день, когда его приняли в партию, когда его приветствовали десятки новых друзей, поднявших на своих плечах жизнь, он постиг, каково должно быть его творение. И теперь он, как поэт, с волнением ждал минуты вдохновения, без которой нельзя приступить к взлелеянному в мечтах замыслу.

— Доброе утро! Вы уже приехали?

— Нет, я еще не приехал! — Микола схватил в объятья мальчика, прижался к теплой после сна, румяной щечке.

— Правда, не приехали? — Марко сперва удивился, а потом рассмеялся, ероша пальчиками седеющие волосы отца. — А к нам вчера снова приезжал Михайло Гнатович. Я катался на его машине, а потом мы вместе опять пели коломыйки. Михайло Гнатович говорит: «Научи меня Марко, коломыйкам». А я ему отвечаю: «Как же я могу научить? Я еще маленький, ученик первого класса. Вы к нашему учителю пойдите». А Михайло Гнатович говорит: «Представь себе, что ты не маленький и что ты сам учитель». Я представит себе и спел:

Шел Гнат мимо хат,
Ганна — от криницы.
Нашел Гнат поросят,
Ганна — рукавицы.

Михайло Гнатович как засмеется. «У тебя, говорит, ври... ври... нет, не ври... а может, и врифма здорово получается. Так даже Тычина не умеет».

— Наверное, рифма, а не врифма?

— Вот-вот, рифма! — обрадовался Марко. — Откуда вы знаете? А что такое рифма?

— Что она такое? Вот «Гнат» и «хат» — будет рифма.

— А «Ганна» и «рукавицы»?

— «Ганна» и «рукавицы» — это уж, пожалуй, будет... врифма, а «криницы» и «рукавицы» — рифма. Видишь, как они ловко одинаково кончаются. Также будет рифма: «вершина» — «полонина»⁵.

— А «вершина» и «долина»?

— Тоже. Есть хочешь?

— Неужели нет?! — Марко подбежал к тагану и заплясал возле него. — Кипит, кипит, так и бежит!.. А вчера к нам еще Василь Букачук и Иван Микитей заходили. Они получили в леспромхозе премию и хотели похвастаться вам. У Ивана Микитея из кармана выглядывала бутылка и, видно, натирала ему ногу — он все вздыхал.

— А ты, Марко, замечаешь даже то, что ученику первого класса и замечать не следует.

— Так я больше не буду замечать. А замечу — промолчу. Правда?

После завтрака Марко поцеловал отца и побежал в школу.

— Вы куда пойдете сегодня? — спросил он уже у ворот.

— Надо в горах встретить товарища агронома.

— Скоро придете?

— Наверно, скоро.

— Вы не задерживайтесь. Может, мы с вами сегодня погуляем над Черемошем, как вчера с Михайлом Гнатовичем. Видите, прояснилось уже. А почему у Михайла Гнатовича нет детей? Мы бы вместе играли.

— Беги, сынок.

И вот маленькие постолы затопали по тропинке, приплясывая и сметая с нее шероховатые камешки и розовый цвет росы. Ветерок донес до ворот щебетливый отрывок коломыйки, и Миколу почудилось, что это его детство побежало по тропке и скрылось в синем тумане дубравы.

На лужайке, отороченной двумя лиловыми рядками пихт, покачивались в густой синеве цветов тени туч. Спускаясь вниз, к Черемошу, Сенчук увидел на тропинке стройную девушку. Что-то знакомое было в ее походке, в движениях, в горделивой посадке головы.

«Неужто это Катерина Рымарь?» — удивился Микола, когда девушка обернулась в его сторону.

— Катеринка, это ты?

⁵ Полонина — высокогорный альпийский луг.

Девушка остановилась, и стрелки ее бровей лукаво подпрыгнули на невысокий смуглый лоб.

— Что, не узнаете? — подвижные, задорные губы выпячены еще совсем по-детски.

— И когда ты выросла такая?

— А что?

— Да ничего. Удивляюсь.

— А вы не удивляйтесь. Я и сама удивляюсь, а мама сердится: «Растешь, девка, как из воды, а кто теперь будет корову пасти?» — Она точнехонько передала голос Василины, наморщила лоб, и вдруг голубые глаза, ослепительные зубы, круглые щечки и неповторимые ямочки на них — все засмеялось, да так заразительно, что и Сенчук затрясся от смеха.

— А ты что ж матери?

— Что? Мы, мол, с Мариечкой думаем в сельскохозяйственный техникум поступать, а вы своей коровой загородили от меня всю науку.

— Так пойдем, Катеринка, со мной встречать науку.

— Науку? Сельскохозяйственную?

— Сельскохозяйственную.

— Тогда пойдемте! — девушка решительно свела к переносице брови. — Только погодите, скажу девчатам, чтоб присмотрели за коровой, — и она вприпрыжку помчалась на соседний лужок, перескочила ручеек и замахала руками девушкам, которые веночком расположились на глянцевиной траве.

Красочный веночек, словно по команде, сорвался с места. Все вскочили, поглядели на Сенчука, потом на дорогу в горы.

«Что-то сказала им про науку», — улыбнулся про себя Микола.

А Катерина, прижав руку к груди, подбежала к своей Белянке. Навстречу поднялись печальные и влажные, как сентябрь, глаза; на шее коровы мелодично откликнулся колокольчик.

— Слышь, Белянка, пасись без меня, — велела ей Катерина.

Корова старчески покорно мотнула головой, вытянула шею и лизнула девушке руку.

— Ой, какая же ты баловница! И телушкой ластилась, и теперь ластишься. Ну, ешь мой завтрак, — Катерина с любовью подала ей ломоть кукурузного хлеба и, раскинув руки, шаловливо побежала вниз.

— Будут пасти! Только бы мать не дозналась. А далеко наука-то?

— Спускается с гор.

— И прямо в Гринявку? — в голубых глазах множеством звездочек мерцает улыбка, готовая в любую минуту брызнуть смехом.

— И прямо к тебе, непоседа.

А непоседа притихла на миг, пошевелила в задумчивости сочными подвижными губами, улыбнулась, и на луг легко, танцуя, вприпрыжку выбежала новая песенка:

Мы, гуцулы, гуцулики,
Стройные, как буки,
Подымаемся к вершинам
Навстречу науке.

— Катеринка, — сладким голоском окликнула девушку снизу темнолицая, пышнотелая Палайдиха, — а кто ж твою корову в горы погонит, когда ты полезешь на вершину за наукой?

Девушка вспыхнула. Она даже остановилась от возмущения, но, овладев собой, смиренно ответила:

— Я думаю, лучше всего вашей Палагне погнать мою Белянку: у нее такой голос, что все волки кинутся врассыпную.

На круглом лице Палайдихи округлились глаза и рот.

— Провались ты, бесстыдница! Ты что мою Палагну с гольтьбой равняешь?

— Да где уж ей равняться с нами! Каши мало ела, — невинным голоском ответила Катерина.

А Палайдиха, бранясь и отплевываясь, так припустилась с горы, что тропка то и дело выскальзывала у нее из-под ног.

— Побежит теперь жаловаться моей матери. — Катерина вздохнула. — Будет мне сегодня к обеду лекция!

— Не горюй, Катеринка, мать на другие лекции перейдет.

— Вы так думаете?

— Верно.

— А скоро это будет?

— Как прищемим языки и хвосты палайдама да нарембам, так и твоя мать глянет на мир другими глазами.

— Поскорее бы!

— Что отец делает?

— Голову ломает.

— И большие у него заботы?

— Не такие уж большие, зато давние: спит и видит лошаденку. Совсем она ему голову затуманила. Просыпаюсь раз ночью и слышу — кто-то возится в темноте. «Ты куда, Юстин?» — спрашивает мать. «Лошадке надо сенца подкинуть». — «Какой лошадке?» — вскочила мать с постели — да в слезы: «Юстин, опомнись!» — «И привидится же! — тяжело вздохнул отец. — Такой конь приснился! Верно, и Палайда лучшего не держал. И зачем богу надо, чтобы бедному гуцулу и во сне не было покоя?!»

Вокруг, переключаясь с шумом Черемоша, журчали кристальные горные потоки, пихты напевали свою мелодию, и казалось, слышно было, как лазурное небо звенело золотыми осенними прожилками и на них во множестве нанизывались клубочки облаков.

В долине, у маленького озера, которое ранней весной браталось с волнами Черемоша, путники встретили седого, как поднебесное облако, деда Степана. Старик шел с далеких вершин неторопливой, гордой поступью.

— Как живете, дед Степан? — приветствовал старика Сенчук, с немалым удивлением раздумывая, что заставило горца спускаться в долину, где он бывал только по большим праздникам.

— Хорошо, детки, — старик оперся на резной посох и узловатым пальцем примял в трубке табак.

Костлявое, смуглое, словно вырезанное из дерева лицо Степана дышало спокойствием, а выразительные карие глаза говорили, что горец еще и не помышлял прощаться с жизнью.

Катерина с интересом присматривалась к старику, о котором ходило много былей и небылиц. Прадед Степана в 1736 году, когда Довбуш проходил через Косов, примкнул к повстанцам, а после смерти вожака жил в таких лесах, где и топор еще не гулял. С той поры к семье Дмитраков навеки пристало почтительное прозвище «опришки»⁶ а слава предков, как сокровище, переходила к потомкам, поднималась новыми всходами, щедро окропленная неутешными материнскими слезами, ибо до самого 1939 года жизнь Дмитраков была втиснута в зарешеченные камеры «постерунков»⁷ и тюрем, да в «акты оскаржони»⁸. И только по какому-то неписаному закону Дмитраки пользовались одной привилегией — их не пытали на допросах: полицейские, серебряногалунные комиссары, паны-коменданты,

⁶ Так звали повстанцев из отряда Довбуша.

⁷ Полицейский участок (польск.). Прим. автора.

⁸ Обвинительное заключение (польск.). Прим. автора .

инспектора полиции — все знали, что у Дмитраков скорее можно вырвать сердце, чем слово.

— Куда это вы с гор, дед Степан?

— На собрание, сынок, — с достоинством ответил старик и потонул в облаке табачного дыма.

— Какое же у нас собрание сегодня? — удивился Микола.

— Э, если бы у нас, я бы и палки не брал... Панаса, внука моего младшего, знаешь?

— Как не знать! — засмеялся Сенчук, а старик обеспокоился:

— Микола, чего смеешься? Может, мой Панас пустой человек?

— Что вы, дедушка! И в мыслях такого не было! Только вспомнил, как он, когда еще учился в школе, принес в церковь на вечерню полную шапку майских жуков. Тут божья служба идет, а жуки завели свою службу, гудят, как поповская молотилка, летят на свет и гасят свечи.

— И придет же охота вспоминать о таких делах! — вислый нос старика морщится, и на невыцветших глазах выступают веселые слезы. — Панас мог выкинуть такое коленце, он с малых лет не охотник был до церкви. Все у него бывало «бардзо добже», а по закону божию и «правуванию» «недостатечно»⁹. Ну, теперь он свое «недостатечно» по поведению как будто выправил. Знаешь, председателем выбирают в Яворове. — Старик даже выпрямился и обвел Миколу и Катерину долгим взглядом. — Стало быть, внук мой не так себе генерал — лишь бы место занимал, а хозяин! Ну, а ежели и остался у него в голове какой-нибудь жук, так я ему крылья оборву до самой спинки. — И старик воинственно взмахнул посохом.

Катерина не выдержала — прыснула и присела, а горец стал спокойно советоваться с Сенчуком:

— Как ты думаешь, Микола, если я поживу несколько дней в Яворове, потихоньку, по-стариковски, обойду поля, прикину все, обмозгую, не убавит это чести моему внуку?

— Только добавит. Вас все горы знают. И мы вас прежде всех на первое колхозное собрание позовем.

— А Панас забыл на собрание позвать, — на морщинистый выпуклый лоб старика набежала тень раздумья. — То ли боится, что, может, не выберут еще, то ли старость мою бережет? Эх, Микола, все-таки нехорошо быть стариком. И уважение тебе, и почет, а смотрят на тебя все же с жалостью, точно сами никогда не постареют. Ну, я пойду помаленьку. Как твой Марко, растет?

— Растет, дедушка.

— Вот и хорошо. Пусть растет, как пихта зеленая.

По плечам гор подымались сплошные леса, и в глубине их, как неведомая дичь, пофыркивали машины. Вот на повороте проглянула пышная зелень полонины и снова скрылась за деревьями. По обочинам сверкали зеленым гляncем заросли брусники, дышали горные ключи, и пихты выплескивали из своих неразгаданных недр щебет ветра, ручьев, птиц.

На дороге показался одинокий путник. По его походке сразу видно, что это не гуцул. Молодой белокурый парень, очевидно, не спешит спускаться вниз. Он пытливо разглядывает горы, изумляется щедрому празднику красок. Поразительно, как небесный свод повторяет изогнутую форму лесов. Кажется, само небо порождено ими и представляет собою всего лишь их голубую тень. Вот в волнующую синь чащобы молнией вонзился огненный зигзаг буков, а может быть это и впрямь небо стряхнуло молнию и она застыла в кронах деревьев, в ожидании весеннего грома. И на лице парня играет восторженная улыбка, присущая только юности.

— Вот, кажется, и он.

— Да что вы, Микола Панасович, какая же это наука?! Это самое большее студент! —

⁹ Бардзо добже — очень хорошо; правувание — поведение; недостатечно — неудовлетворительно (польск.)

Катерина даже руками замахала.

Парень поравнялся с гуцулами, доверчиво здоровается с ними, и открытый, прямой взгляд его карих глаз останавливается на Катерине. Верно, заметил что-нибудь незнакомое в ее одежде и старается запомнить. Катерина, кажется, ни разу и не взглянула на юношу, однако тоже запомнила все, что есть в нем необычного: удлиненное белое лицо и карие глаза, густые, с вьющимися, словно подпаленными кончиками волосы и пухлые губы.

— Не вы ли, товарищ, будете агроном Григорий Нестеренко? — спросил Сенчук, остановившись возле вековой пихты.

Катерина, невольно выдавая себя, резко повернула голову к гостю. Смешно и подумать, что этот парень — ученый человек, но уж лучше пусть агрономом будет он.

Парень представился:

— Я агроном Нестеренко.

— Ну и молода же эта наука! — со вздохом изумления вырывается у Катерины.

* * *

Погожий день рассеивает искристо-розовую солнечную пыльцу, и она дрожит, колышется в воздухе, заполняя весь простор, вплоть до нежно-лиловой линии горизонта. Катеринка бежит сквозь эту легкую золотистую порошу, улыбается про себя, то и дело мысленно возвращаясь к «молодой науке», и временами украдкой оглядывается назад: не появится ли на дороге агроном? Но, должно быть, озерко и низинка приворожили и Нестеренка и Сенчука. Что они там нашли? Уж, верно, нашли что-то, если заговорили так, будто ее, Катеринки, и не было с ними. Она узнала бы все до последнего словечка, не будь Белянки. А что, если бы в самом деле эта толстуха Палагна побежала вперевалку по горам за Катерининой коровой? При одной мысли об этом Катерина фыркает... Представьте, такой молодой — и уже высшее образование. Вот, верно, голова у человека, и подумать боязно!

И все-все — и стройная фигурка, и румянец на лице, и изменчивое выражение глаз — все говорит о том, что девушка в той счастливой поре формирования, когда каждый день поднимает тебя на новую ступень, а жизнь воспринимается как чудесная сказка.

Вот и светло-зеленый лужок. В него, как в зеркало, смотрятся облака, и коровы ворошат их своими влажными мордами. Но где же Белянка? Ее не видно.

Катерина остановилась, прислушалась, но знакомый колокольчик не откликнулся. И беспокойное сердце замерло в тревоге.

— Катерина, ты Белянку ищешь? — окликнул ее подошедший сзади Федько Сайнюк. — Не ищи: только ты ушла — за нею пришел Палайда. Накинул Белянке воловод на рога и... повел в село.

— Почему же Палайда?! — вскрикнула Катерина и тут же прикусила губу.

— Он сказал, что Белянка уже его.

— Ой, несчастье! — Катерина как-то сразу съежилась и стала удивительно похожа на обиженную до слез маленькую девочку.

Как Катерина добежала до села, она и сама не помнила. Первой повстречалась ей на улице смуглая Мариечка Сайнюк, которая обрывала орехи с молодого душистого дерева.

— Мариечка, ты моей Белянки не видала? — спрашивает Катерина дрожащим голосом, надеясь, что, может быть, Федько не так ей объяснил.

— Палайда давно уже протащил ее здесь. Корова не хочет идти, упирается так, что глаза на лоб лезут, мучается, а он волочит ее, будто на зарез, — с сочувствием проговорила девушка. — Катеринка, попробуй орешков.

Но та даже не расслышала последних слов. С затаенным страхом она бежит к Палайде. Вот и каменный дом богача, высокий забор. Сквозь щелку Катерина видит у огородного тына знакомую звездочку своей Белянки. И хотя корова уже у Палайды, девушка на миг обрадовалась.

Но только на миг, — все, что она увидела вслед за тем, сразило ее: на кособоком тыну

висела лишь аккуратно распяленная шкура Белянки; маленький, с запекшейся кровью вырез и не напоминал уже о том, что еще сегодня под ним трепетал большой грустный глаз.

Катерина, припав к воротам, вскрикнула, а из-под шкуры, облизываясь, выскочил окровавленный, скорченный от старости пес. Он, верно, и вывел девушку из забытья. Загремев калиткой, она в ярости метнулась к дверям дома, но там висел большой замок, чем-то похожий на пса.

Девушка, стремглав выскочив со двора, бежит домой, чтобы там дать волю слезам.

Но что это? В сенях явственно слышны голоса Палайды, Палайдихи и Палагны. Нет, они не увидят ее слез. Не дождутся!

— Дай вам бог, чего сами себе желаете! Пей, Юстин! Все равно, пей — помрешь, не пей — помрешь! — голос Палайды рассыпается елейным смешком.

— При такой власти недолго попьешь, — отзывается Палайдиха. — Такие свары, такое непочтение везде! Даже ваша Катеринка отбивается от своих. Меня до сих пор трясет, как вспомню, что она утром говорила.

— Да она еще мала, ум-то у нее детский, — извиняется за дочку Василина.

— Не говорите, Василинка, не говорите мне, я и так все вижу. Уж если думает о комсомоле, стало быть не детский ум, а политический. Ну, а когда политика доводила людей до добра?

— Правду моя старуха говорит, — наставительно замечает Палайда, — политика дает барыш, когда власть веками стоит, как на каменном фундаменте. А ежели весь мир вскинулся, словно его за грудки берут, тут уж держись от политики подалее да знай пей водку — ее все власти выпускают. Так выпьем, чтоб не блестело на донышке.

Катерина стала на пороге. Гости руками таскали из миски куски мяса, и загустевший жир стекал по пальцам, как по корням.

Глаза девушки встретились с напряженным взглядом отца.

— Катеринка, пришла? Садись с нами есть, — затаенная радость и вместе затаенная скорбь звенит в голосе старого Юстина. — Попрощайся, Катеринка, со своей баловницей. Вот взяли займы кусок от нее, чтобы гостей попотчевать, — купили все-таки у них лошаденку.

Катерина стремглав выбегает из хаты. Растворяет хлев. На стене висит ремешок с колокольчиком, который еще сегодня веселил пастбище. Девушку встречает теплым дыханием низкорослая брюхатая лошадка. Синие глаза ее настороженно темнеют и снова просветляются. И этот живой взгляд больших глаз приносит облегчение отчаявшейся Катерине.

Не скоро возвращается она в хату. Спиною к ней, выпрямившись, твердо стоит Палайда, а возле него, как два нуля, круглые Параска и Палагна.

— Ты не забывай, Юстин, — деловито говорит Палайда, — что должен нам за лошадь сто и еще сто рублей, за мясо тоже сто и за пастьбу Белянки на полонине тоже сто.

И Катерине кажется, что перед нею не семья Палайды, а уродливая цифра «сто».

— А за полонину почему мы должны платить? Это по какому праву? — резко отрубает девушка.

— Катеринка, молчи, молчи! — вырывается у Василины, и на ее морщинистом лице отражаются испуг и страдание.

— Не буду я молчать, мама... — голос у девушки надламывается. — Ну, содрал он шкуру с Белянки, сдирает с нас шкуру за мясо Белянки — ладно! Только почему же он за общественную полонину обдирает нас?

— Ты, девка, забыла, что я владелец полонины? — Палайда яростно шагнул вперед, и его узкие самоуверенные глазки, как ножами, полосуют лицо девушки.

— А что ж, и забыла. Были вы владельцем, да никогда больше им не будете. Слышите, никогда!

— Ой, до чего ж у тебя непочтительная девчонка, Василина... — Палайдиха, растопырив руки, попятилась, и живая уродливая цифра «сто» расплзлась по хате.

* * *

Когда Катерина вприпрыжку побежала в неведомую еще Нестеренку Гринявку, «молодая наука» добродушно прищурился, вооружился очками и сразу стал старше, неприступнее.

Любопытство у Миколы на некоторое время сменилось растерянностью, он смутился: перед его глазами в холодное озерко лез, засучив штаны, уже не простой парень, а строгий исследователь, и даже отражения пихт, колеблющиеся в стеклышках его очков, казались таинственными знаками учености. И для чего он, пачкая костюм, карабкается на скалы, с которых можно сорваться в пену водопада?

— Не оставить ли вам в покое этот обрыв, Григорий Иванович? — с беспокойством спросил Сенчук, когда агроном стал спускаться к реке по отвесному потрескавшемуся склону.

— А что ж, можно, — механически ответил Нестеренко, ковыряя пальцами размытый узор почвенных слоев. — Можно, все можно.

— Так давайте руку.

— И это можно.

Но когда гуцул протянул свою сильную, жилистую руку, агроном уставился на нее с неменьшим удивлением, чем на узор прибрежного грунта... Как все-таки очки меняют человека! Микола вздохнул и, цепляясь за кусты, стал спускаться к агроному, вместе с ним читая разноцветную карту берега.

— Высоко-высоко поднимается линия паводка. Такая как будто незавидная речушка теперь — по камушкам на тот берег перейдешь, — а что делает в разлив!

— Э, Григорий Иванович, вы еще не знаете половодья на Черемоше!

— А вы расскажите. Можно?

— Почему ж нельзя, — ответил Микола и, подражая агроному, добавил: — Все можно.

А тот, сняв очки, рассмеялся и снова помолодел.

До чего же интересен этот черноглазый горец! А он, Григорий, до нынешнего дня даже не знал о его существовании. Безусловно, это пробел... Чудесно все-таки в нашем мире: куда ни поедешь, всюду вокруг тебя, как озон, будут ясные люди, со своими неповторимыми характерами, талантами, особенностями, интересами. И хорошо, что всякий раз встречаешь человека, как новую звезду на широком поле светлого неба. Не только для себя светит она, и даже когда она падает и рассыпается голубой порошей, боль утраты ложится в наши сердца новым замыслом — выращивать все лучшее, что расцветало в глазах твоего друга. Философия!

— Так послушаете про паводок на Черемоше?

— С удовольствием, Микола Панасович.

— То было, Григорий Иванович, августовским вечером, давным-давно — мои годы тогда только на порог юности стали. Нелегкие это были годы! Днем выпустили меня из постерунка — сидел я там вместе с Михайлом Гнатовичем Чернегою за участие в майской демонстрации, — я спешил на свои горы, а они все кутались и кутались в тяжелые тучи, а потом покрылись такой мглой, что и молниям неведомо было пробить ее. Поздний гром потрянул небо, и из него полился темный дождь. Мокрый, но веселый иду я к своей милой, коломыйки пою. И вдруг передо мной, как марево, заколыхалась муть, а в ней торчком стали сплавные бревна.

«Да это же паводок», — сообразил я и побежал от него. Только оглядываюсь — вода нагоняет меня, вот-вот захлестнет. Вбегаю в чью-то пустую хату, лезу на чердак — и глухой рев волн окружает меня. Слышу — ударит паводок в стену, приподнимет хату, снова поставит на место, подопрет и снова опустит.

«Все равно смерть. Хорошо хоть не в участке, где мне расписали шкуру вдоль и поперек, как тетрадь по арифметике».

Подумал я об этом и спокойно уснул под гул воды. Что мне снилось — и не знаю. Проснулся утром — вокруг море, и плыву я по нему на хате, как на пароходе... Широко, на бескрайные километры, разлился тогда Черемош... А в гуцульской душе теперь еще шире паводок, — неожиданно закончил Сенчук.

— Философия! — подытожил Нестеренко и спустился вниз, ближе к водопаду.

Теперь вокруг был ослепительный надводный воздух. Насыщенный водяной пылью, он плавился на солнце, мерцал и кружился, словно чудесное отражение водопада.

— Так что с озерком, Григорий Иванович?

— С озерком? Больше полюбил его. Интересно? С озерком мы постараемся вот что сделать: плодородную весеннюю почву переправим из Черемоша в этот естественный водоотстойник.

— Земля вокруг озерка очень скудна, — повторил Микола свое сомнение.

— Горный гумус сделает ее золотым дном.

— Долго ждать до весны... А может, Григорий Иванович, так рассудить: часть низинки теперь же удобрить илом со дна озерка и посеять рожь? Чтоб не мучили сомнения, выйдет ли что-нибудь.

— Рожь посеять? Вроде поздновато.

— Поздновато, но мы и по осенним всходам увидим весну. Правда?

— Попробуем.

— Может, пообедаем?

— Пообедаем, — охотно согласился агроном.

— Так пойдете ко мне.

— А не осталось ли у меня чего-нибудь?

Нестеренко поднялся наверх, раскрыл свой чемоданчик и разочарованно оттопырил губы: ничего съестного, кроме ломтя хлеба, там не было. Вывалив на траву несколько килограммов конспектов, он снова вооружился очками, уткнулся в записки и стал таким серьезным, что об обеде неловко было и напоминать. Только когда на многоярусные леса стали спускаться тучи, Сенчук коснулся плеча агронома.

— Григорий Иванович, погода портится. Пора домой.

— Пора — так пора... А гумус в верховьях чудесный! И рожь и пшеница — все уродится! Правда? — подражая гуцульской интонации, спросил Нестеренко.

Потом вскочил и с любопытством посмотрел вдаль. Тучи быстро заштриховывали гряды гор; леса остались по ту сторону черного облачного месива, и небо уменьшалось, словно кто-то притягивал его за края к земле. На миг из тьмы выступили угрюмые очертания церкви и потонули во мраке.

— Что там, монастырь?

— Нет, логово! — коротко ответил Сенчук.

* * *

Перед Бундзяком, как угрожающий крест, высывалась из недр горы крепкая, приземистая церковь. Справа от громоздких церковных врат тянулся монастырь ордена святого Василия; напротив широко растопырился неказистый заезжий двор со всевозможными службами. Все тут было как прежде, только не было у Бундзяка прежней веры. Она давно уже рассыпалась в пыль, изъеденная цепким жестким практицизмом, и перепуталась с обломками суеверий, густо произрастающих в горах, где человеческую жизнь со всех сторон подстерегали угрюмые силы природы.

Когда-то здешние восковые свечи светили ему, как отблески потустороннего мира, когда-то верилось монахам, что господь бог сотворил жизнь только для того, чтобы ее путями добраться до неба, когда-то певчие пели, как хор ангелов, и в самом деле казалось, что отец игумен может взять за руку и привести к самому богу.

Каждый год незаметно накладывал на все окружающее и на веру свои тени. И сквозь

них не мог уже пробиться свет, как не могло вернуться детство. И уже не тем огнем горели восковые свечи, над которыми нависали, гася их, черные чернецы. Сквозь пение ангельского хора просачивались эротические песни с заезжего двора, и облупился нимб святости над отцом игуменом. Бундзяк случайно узнал, что игумен получил свой сан не столько за духовное богатство, сколько за раболепие перед «апостольской столицей», когда та руками иезуитов реформировала, латинизировала базилианские монастыри в Галиции.

Выходит, что и церковные стены не отрывают человека от греховного. Эта внезапная догадка со временем обросла таким будничным илом, что Бундзяк подчас смотрел уже на служителей культа сверху вниз, а самого бога вспоминал только по привычке или когда был охвачен страхом.

Вот и сейчас какая-то внутренняя дрожь неприятно пронизывала бандеровца, словно его призывали не на монастырский порог, а на порог страшного суда.

Виною всему было, очевидно, пережитое за последний месяц. Во время ареста районного националистического руководства он с маленькой кучкой отчаянных головорезов сумел под Устериками прорваться на Белый Черемош и податься на черногорские полонины. Тут они, почерневшие от усталости и голода, не ели — пожирали в пастушьих куренях жалкие чабанские харчи, резали лучших овец, суля пастухам самую мучительную смерть за то, что те с непочтительным презрением смотрели на впавший в ничтожество, одичалый национализм. Потом, нагрузившись свежими сырами и мясом, Бундзяк со своими людьми ушел в Черные леса и притаился там в диком буераке, боясь даже думать о налаживании прерванных связей. Теперь работа сводилась к запугиванию и грабежу горцев, ибо все боялись призрака зимы и ее спутников — голода и холода. Неожиданно связь была восстановлена. В одно туманное утро, когда они возвращались с добычей в свое логовище, у оврага их перехватил Пилип Наремба. Глаза его, кое-как вдавленные в грубое загорелое лицо, шевелились, в глубине орбит, как придорожные жуки.

— Пане Касьян, это вам, — угодливо подал он вынутый из-за пазухи миниатюрный конверт.

Бундзяк сразу же узнал почерк своего приспешника по банде Трускавца, и хотя он всей душой ненавидел этого напыщенного магистра-книжника, но теперь обрадовался и нетерпеливо разорвал конверт. Брызги чернил на бумаге напомнили ему брызги слюны, с которыми всегда вырывались у Трускавца заумные слова, говорил ли он о постановлениях римского собора или о преимуществе изготовленных в горах капустных пирогов с картошкой и м¹⁰чанкой перед всеми блюдами на свете.

Он остался верен своему стилю и в тяжелые минуты, только теперь казалось, что он уже не склонялся перед римской политической программой, а издевался над ней.

«Многоуважаемый пане сотник!

Слава богу, нас спасла не организованная сила руководства, а былая анархия гуляй-поля. Действительность сейчас требует от нас любой ценой удержать вооруженное подполье. Удобный момент, надеюсь, не за горами. Для инструктажа немедленно явитесь в монастырь. Там вас ждут. Пароль — известные слова из устава святого Василия великого, те же, что были у нас паролем в Космачевской Краевке.

Ваш Тарас Трускавец»

И вот он явился для инструктажа, одновременно радуясь и тревожась. Хорошо, что как-то связались оборванные нити подполья, но почему они ведут через монастырь? Почему именно он замыкает твою окровавленную дорогу, сметая с нее последние крохи веры? Выходит, в страшный час тебе не к кому будет вознести с мольбой руки, ибо нет больше ничего святого на земле.

И нахальная самоуверенность Бундзяка на миг рассасывается в глупом и никчемном водовороте мыслей. Отбрось их и живи, как живется, не путайся в раздумьях, иначе

¹⁰ М¹⁰чанка — смесь творога со сметаной.

запутаться, как муха в паутине. Твоя судьба — не раздумывать, а исполнять приказы. Думать можешь только об отрезанных у тебя сорока пяти гектарах и еще о том, как нарезать своим бывшим батракам по два метра земли.

— Слава Иисусу, — прошептала темнота и вытолкнула навстречу Бундзяку костлявую фигурку монаха. — Кого бог послал на святую гору?

И кощунством прозвучали слова пришельца:

— Нищенство, слепое послушание и чистоту.

— Пане Касьян? Прибыли, наконец! Не один вечер поджидали мы вас. Я брат келарь — экононом монастыря. Есть хотите?

— А как вы думаете, брат келарь? — К Бундзяку возвращается самоуверенность, которая редко оставляет его, ибо с ее помощью лучше диктовать другим свою волю.

Брат келарь чувствует, что он имеет дело не с простым паломником, и удовлетворенно хихикает. Смех у него, как и стан, тонкий и гибкий.

— Больше нечего спрашивать. Веду пана Касьяна к нашему рефектарию¹¹.

Снова раздается хихиканье. Бундзяк морщит нос: от рясы монаха несет всем, чем он потчует братию, — прокисшей кашей, вареной картошкой, духовой говядиной, а также самодельными свечами, изготовленными нечистыми руками из нечистого воска.

* * *

В просторной келье отца игумена полутемно, и совсем не видно, что притаилось по углам. Только на окладе чудотворной иконы божьей матери играют лучики света. Бундзяк впервые с удивлением думает: почему на иконе, как греховный орнамент, разбросаны легкомысленные сердечки червонной масти?

Под иконой сидит раздобревший монах, и его круглое багровое лицо, резко вытянутое книзу, удивительно напоминает червонный туз. Бундзяк едва не улыбнулся, установив связь между орнаментом иконы и головой отца игумена.

Интересно, чего можно ожидать от него? Простой это туз или козырный?

Вот игумен приподнимает свое грузное тело, поднимаются и веки, но в полутьме Бундзяк не может разглядеть, какие у отца игумена глаза, только видит на их затененных зрачках подвижные пятнышки — они поразительно похожи на две недозрелые ягодки красной смородины.

— Сын мой, ты стоишь перед мастером и слугой бога, — словно отгадав мысли Бундзяка, с чувством, благочестиво говорит игумен. — Знаем, нынешние времена глубоко изъязвили твое сердце. Пусть же эти язвы зарубцуются и украсят твой дух славой, как шрамы украшают тело воина. Сюда несли, сын мой, не только раны, но и руины своих душ, и благодаря щедрым милостям пречистой девы Марии, которую церковь называет небесными вратами, ибо лишь через них можно войти в горние небесные сады, с обновленной душой достигали осуществления идеалов и солнечных полей христового учения...

О, этот мелодичный благочестивый баритон, видно, отмыкал не одно измученное сердце и навеки забирался в руины душ то восковым туманом пасхальных ночей, то чадом адских угроз! А когда он словно ненароком зацепил струны честолюбия, словно невзначай напомнил о неоцененных заслугах атамана, у того скепсис стал рассеиваться: вот он поплыл куда-то за стены монастыря, и вдруг от восковых свечей повеяло на Бундзяка теплым дыханием и далеким отголоском детства.

Полуприкрытые глаза игумена внимательно следят за этим изменением. Он всегда рассматривал людей лишь как фон для своей особы, но умел, не теряя внутреннего превосходства, схватывать не одни только внешние черты собеседников.

¹¹ Рефектарий — трапезник в монастыре.

— Сын мой, ты остался в живых и владеешь драгоценнейшим сокровищем на земле. Возблагодари божие провидение и собственный разум. Бурное море носило тебя по волнам жизни и небытия и прибило к самому несокрушимому на свете кораблю — к церкви божией. Приветствую тебя в сей христовой твердыне и верю, что вижу перед собой нового представителя нации — тип героя и властелина. Бог с тобою.

Предпоследняя фраза игумена снова напомнила Бундзяку об отрезанных моргах, и в душе «властелина» ежом шевельнулась злоба.

— А теперь садись, сын мой, и поговорим о хлебе насущном будничных забот.

С округлого лица игумена, как пух с перезревшего одуванчика, облетает благочестие, и выражение его становится деловито-упорным, властным.

— Ты ведаешь, что бог согласил земное с небесным, душу с телом, но не пожелал согласить огонь и воду, горы и долины, богатство и бедность. Великие души обладают силою воли и почти всем, а слабодушные — лишь желаниями. Так почто мерить одной мерой их разум и достояние? А это уравнение грозит уже галицийским землям. По замыслу большевизма тысяча девятьсот сорок восьмой год должен стать годом, как они называют, сплошной коллективизации этого края, и страшнее всего нам в горах сейчас те из гуцулов, кто становится во главе движения. Их надо вырвать из нашей прозрачной природы, ибо большевизм это такой фермент, от которого могут забродить даже наши каменные горы. А без фермента и вино остается спокойным, не то что наш убогий крестьянин. Обрати взор свой на Миколу Сенчука, на Панаса Дмитрака и весь их круг. Это приказ, и за выполнение его ты отвечаешь перед господом богом, нацией и собственной совестью.

Игумен, поднимаясь, навис над подсвечником, точно собирался погасить свечи, но погасил не их, а далекий отголосок детства, просочившийся к Бундзяку неведомо через какую щель и оборванный, как паутинка.

Остаток ночи Бундзяк пропьянствовал с келарем. Побаиваясь, чтобы в монастырских стенах не прослышали о пребывании атамана, пили молча; не пили, а накачивались водкой, напихивались едой, поэтому хмель не веселил, а только распирал головы и желудки.

— Так вот и живем, пане Касьян, — брат келарь залил жженкой широкий зевок. — Даже пьем как на похоронах.

— Бабу бы сюда, — хмуро ответил сотник.

— В монастырь? — глазки келаря оживились, но он сразу же настороженно обвел взглядом полутемную клетушку затхлой кельи.

На рассвете Бундзяк, не разуваясь, упал на пышную постель брата келаря и уснул тревожным сном. Ему не давали покоя перины, кошмары и сладковатый чад восковых свечей, огоньки которых опускались все ниже и ниже, пока фитили не догорели до самого конца.

* * *

Свечи с шипением погасли, и свод жаркой кельи тьмою навис над головой игумена. Голубой узелок лампадки едва мерцал на каком-то орнаментальном узелке иконы. Но тьма не тревожит игумена: она всегда, как тень, была спутницей его жизни, а теперь особенно. Это последнее не очень радует: игумен всегда отличался не горячностью авантюриста, а строгой холодностью во взглядах и в поведении. И это было закономерно, ибо он вырос за холодными монастырскими стенами, в удушливой атмосфере вечных ссор, прикрытых, как паутиной, сетью иезуитского благочестия и хитрости.

Были и у него свои вершины благочестивого экстаза, но это отошло в далекое прошлое, к тем временам, когда он по окончании гимназии, трепеща, стоял у порога епископского кабинета с рекомендательным письмом отца каноника. Но у епископа как раз сидели гости — немецкие военные. Свидание не состоялось. По этой простой причине гимназист не стал воспитанником духовной семинарии. И уже не духовный экстаз, а расчет привел его к монастырским вратам отцов базилиан.

Медленно, очень медленно поднимался он по лестнице духовной иерархии, но сколько требовалось при этом греховного проворства, настойчивости, и, боже мой, какое это было падение, хотя со стороны оно казалось возвеличением! Нет, во многом ошибался книжник, писавший, что на светском и духовном поприще вершин достигают орлы либо змеи. Орлам среди каменных стен делать нечего, а вот змея, прикрываясь личиной орла, взползет на любую вершину. На это нужно лишь время и удобный случай.

И отец игумен ждал случая, злобясь на свою судьбу и покровителей. Они в свое время не оценили его, забросив в эту дикую, огороженную горными кряжами дыру. Признание, дары, долгожданные посулы пришли теперь, на склоне лет, то приближая к глазам обманчивое величие, то низвергая в бездны страха.

Тихий стук в дверь. Лицо игумена перекошилось, но его сразу же разгладила профессиональная улыбка. В келью входит брат келарь.

— Пан сотник готов в дорогу.

— Копыта коню обвязали тряпками?

— Все сделано, как вы велели.

— Зовите.

Вскоре в дверях появился Бундзяк. Ближе подходить ему не хочется, чтобы игумен не почувал сивушного духа. Брат келарь зажигает две толстые свечи, и между ними вырисовывается скорбное почерневшее распятие. Монах бесшумно, как летучая мышь, выскальзывает из кельи, и во тьму теплыми каплями воска падают слова игумена:

— Сын мой, ты покидаешь наш мирный приют, идешь с оружием в руках по земле, отгороженной от всего, кроме божьей милости...

Узкое злобное лицо Бундзяка прорезают иронические складки. Сладок запев, да не такова будет песня. Впрочем, он и «запева» не пропускает мимо ушей: велеречивость игумена, быть может, еще пригодится. Но следующие слова он слушает уже без насмешки, даже с тайной надеждой.

— За любовь и доверие пречистая дева Мария не перестает раздавать милости верным своим почитателям. Настанет пора, и святая церковь с любовью поведает современникам и грядущим поколениям, верным детям Иисуса, о твоём самопожертвовании... Сын мой, тщательно веди дневник, чтобы не сокрылось ни малое, ни великое из тяжелых условий твоей жизни.

Бундзяк молча кивнул головой, и этот жест словно изменил направление мыслей игумена.

— Вчера мы говорили, что надо освободить наши прозрачные просторы от некоторой части гуцулов. Это необходимость. Но запомни: не только оружием — и словом можно погубить человека. Единомышленникам нашим надлежит повсюду жаловаться на советских вожаков, — он подчеркнул последнее слово. — Каждая их ошибка должна стать смертельным грехом, дойти до самой столицы. А новая власть за ошибки никого не жалует.

— Понятно! — узенькие глазки Бундзяка оживились.

Подойдя к громоздкому, отягощенному массивной резьбой шкафу, игумен раздвинул книги, вынул несколько пачек денег и, как дары, протянул их Бундзяку.

— Вот, сын мой, вспомоществование тебе и твоим людям от святой церкви и приверженцев ее.

— Сколько? — невольно дала себя знать привычка бывшего сборщика податей.

— Тридцать тысяч, — спокойно ответил игумен.

— Тридцать тысяч?! — Бундзяк было обрадовался, но тут же осекся и хрипло, угрюмо процедил: — Несчастливое число. Тысячу я вам верну.

— У пана Касьяна примета? — засмеялся игумен. — Так спрячьте эту тысячу отдельно, как дар от меня, только на свои нужды. У меня любящее сердце, и рука моя легка.

— Значит, на счастье? — облегченно вздохнул Бундзяк.

— На счастье.

И Бундзяк с готовностью выказал фанатическую веру в любящее сердце и легкую руку

игумена. Отдельно, как талисман, засунул подарок в боковой карман, словно твердо решил не расставаться с ним до самой трудной минуты.

Когда в коридоре затихли осторожные шаги гостя, на пороге боковой двери игуменской кельи появился широкоплечий человек лет сорока пяти. Стремительные выпуклые глаза его смеялись, от смеха колыхалось и все мясистое лицо, характерное тем, что вялый румянец гуще окрашивал нижние, отвисшие части щек.

— Златоуст, златоуст передо мной!

— Какой там златоуст, — скромно ответил игумен и почтительно поднялся. — Прошу садиться, мистер Гордынский.

Мистер Гордынский отодвинул кресло от стола и так развалился в нем, что игумен едва не вскрикнул: ему показалось, что гость вот-вот задерет ноги на стол и собьет распятие. Но Гордынский только коснулся сапогами ящиков и сразу же опомнился.

— Все эти дни я с удовольствием слушаю ваши речи и все больше верю, что апостольская столица уже творит славное дело — возводит вас в епископы.

— Это я слышал и в сорок третьем году, — нахмурился игумен.

— Америка не повторит ошибок Германии ни в крупном, ни в мелочах. В этом сила нашего динамического капитализма, — поучительно проговорил Гордынский.

— Быть может, быть может, — задумчиво повторил игумен и, поворошив в памяти далекие годы, увидел себя подростком, благоговейно стоящим у порога епископского кабинета с письмом отца каноника. А теперь без благоговения, но с отрадой в старом сердце он сам должен стать владыкой — епископом. Давно пора! Разве не досадно выслушивать поучения этого Гордынского, который, как и отец его, обладает не столько умом, сколько хитростью выскочки! В 1913 году митрополичья палата послала Гордынского-отца в Америку приходским священником-миссионером в надежде, что он станет украшением далекой ветви украинцев. Стал ли он золотым яблоком на этой ветви, никто не знал, но гуцулы хорошо знали, что золотые доллары исправно посыпались в руки родни Гордынских, и в горах говорили: видно, святому отцу совсем иначе живется, чем батракам. Потом время оборвало звон заокеанского золота, а имена Гордынских вымело из памяти гуцулов, как сор... И вот внезапно является в монастырь посланец из дальних стран, и в речах его чарующе звенят надежды, подкрепленные реальностью денег.

Все бы это хорошо, не будь страха. О, как он порой пронизывает заплывшее жиром тело, донося до самого сердца вопрос господень: «Безумный, возьму нынче ночью твою душу, и кому ты оставишь все, что приобрел?» Только земле он может оставить все это, как и грузное тело свое.

Игумен проводит рукой по лбу, отгоняя проклятые мысли.

— Меня удивляет одно: почему вы не поучили Бундзяка искусству сеять зерна сомнения во вспаханное и неспаханное поле? — спрашивает Гордынский, повернувшись всем телом к игумену. — Насколько мне известно из наших материалов, кое-кто из тех большевиков, что ковыряются в земле, допускает ошибки при разделе прибылей, и это подрывает их агитацию. У меня есть интересный документ. Когда одного секретаря райкома спросили, почему у него в районе плохо идет уборка, он ответил: «Не беспокойтесь, хлебосдачу мы уже заканчиваем». А о трудодне ничего не сказал. В такие факты и в такие слухи нам необходимо вцепляться изо всех сил, раздувать их, как кадило, превращать песчинки в мельничные жернова, не то из-под наших ног выскользнут последние клочки земли. Удивляет меня и другое: вы прекрасно говорили, кто омрачает нашу прозрачную жизнь и как можно словом убивать активистов. Только почему же вы не сказали о гибкости слова, о такой форме, как беседы? Здесь все, как святыню, почитают произведения Шевченка и Франка. Так почему бы и самому Бундзяку не вернуть в беседе что-нибудь из их стихов! Глядишь, кто-нибудь и угодит в наши сети. Это ведь, если не ошибаюсь, испытанный конь национализма.

— Сын мой, я знаю этого коня, да не Бундзяку сидеть на нем. Горы помнят его как сборщика податей и палача, и тут никого не обманешь. Он должен говорить лишь

оружием, — игумен ресницами притушил улыбку превосходства.

— Тогда надо найти других людей! — Гордынский резко поднялся, восприняв улыбку игумена как личную обиду.

— Мистер Гордынский, — сдерживая гнев, ровным голосом заговорил игумен, — не забыли ли вы, где находитесь? Это вам не государственный департамент и не палата представителей. Напоминаю, что вы находитесь в новом мире, где все люди — ваши враги.

— Вы ошибаетесь, владыко!

— Я хотел бы ошибаться.

— Думаю, что это говорит ваш страх.

Игумен поморщился.

— Я напуган не больше вашего.

— Как это понять?

— Понимайте просто. Истерика и страх сотрясают до самых основ всю Америку. Вы завозите этот страх во все страны, куда золото и войска сумели отворить вам дверь. Вы привезли его и в мою келью и, признаюсь, в мое сердце. Но никто не в состоянии распространить его в стране, где мы сейчас находимся... Христос призвал меня жить в этой стране, и, трудясь ради Христа, я лучше изучил этот край, нежели вы свои кое-как склеенные материалы.

— Бомбами, атомными бомбами окропить бы его! — злобно вырвалось у мистера Гордынского, и он ощерился, как откормленная крыса.

— Думаю, что это говорит ваш страх! — игумен побил Гордынского его же словами и перепугался.

Ведь этот мелочный спор может оставить тень в душе честолюбца Гордынского, дойти до высших хозяев игумена, тучей нависнуть над его головой и задержать его посвящение в епископский сан. Проклятая профессиональная привычка и остатки не выкорчеванной до конца страстности толкнули его на эту неблагодарную прю... Молчи, наемник, молчи, проглоти свой язык, если хочешь угодить хозяевам, а тем более доползти до них. Златоустом ты можешь быть только в среде низших.

И он угодливо попросил извинения за глупую горячность и за слова, порожденные одними нервами, ибо ведь вокруг него нет среды, возвращающей мистеров Гордынских.

По улыбке шпиона игумен догадался, что сумел польстить ему.

* * *

На зеленой горе чернеет обнесенный жердями клочок пашни. По нем ходит худой гуцул с мешком через плечо и однообразным страдальческим жестом бросает в землю свои надежды; они мгновение искрятся в розовой пороше заката и падают на борозду асимметричным узором. Со стороны кажется, что это идет не сеятель, а нищий, и его протянутая рука не веселит, не благословляет землю, а выпрашивает у нее подаяние.

Вот он увидел Миколу Сенчука и не обрадовался человеку, а перепугался. Его сухое лицо, на котором золотятся то ли паутинки волос, то ли ворсинки зерна, вытянулось от страха.

— Сеешь, Дмитро? Поздненько, — Микола приветливо смотрит на Стецюка.

У того даже тонкие, морщинистые губы бледнеют, а из дрогнувшей руки, словно из опрокинутого колоса, высыпается, течет зерно, и под ногами вырастает маленькая горка семян.

— Дмитро! Ты чего в лице переменялся, словно тебе нездоровится?

На землю упало последнее зернышко, и от этого Стецюку, должно быть, стало легче. Он украдкой кинул вокруг болезненный взгляд, поднял на Сенчука искаженные мукой глаза и попросил:

— Микола, не мучь меня.

— Я тебя мучаю? Дмитро, что с тобой? — Сенчук замер от удивления, словно на него

навалилась частица груза Стецюка.

— Ты, ты, Микола,рываешь мне сердце, как непрочную грибницу. — Гуцул иступленно затрясся в отчаянии. — Зачем ты приходишь сюда? Чего ищешь на этих горах? Смерти своей?

— Мне даже страшно стало от твоих речей, Дмитро. Ты так говоришь, словно на похороны ко мне собираешься, а я ведь только разохотился пожить, — рассмеялся Сенчук.

И это спокойствие, этот смех обезоружили Стецюка; подавшись назад, он изумленно вглядывается в лицо Микола.

— Микола, побойся бога, не ходи сюда, — уже просит он.

— Да почему же? Неужто я тебе так опротивел?

— Ох, нет, не опротивел! Разве ты можешь опротиветь людям? Только что ты скажешь, если Бундзяк у меня в хате хвалился искрошить тебя на пихтовое семя и спустить вниз по Черемошу, к Выжнице? Что ты скажешь, если он приставил мне к переносью автомат и приказал: «Как приду к тебе, выдашь мне все места, где бывает Сенчук»? Он хочет, чтобы я с ним по твою душу пошел.

— И ты, Дмитро, уже смазал постолы идти по мою душу? — смеется Сенчук.

— А, боже мой милосердный! Он еще и смеется, словно не про смерть ему говорят, а на свадьбу приглашают...

— А что, разве ты не позовешь Меня на свадьбу Настечки?

— Только бы дождаться этого часа! Вроде Иван Микитей наведывается к ней...

— Что Настечка делает?

— Что ей делать? Все воюет со мной: иди, отец, в колхоз да иди, — будто нет у меня времени обождать. Колхоз не машина, что пойдет, так не догонишь.

— А не стыдно будет последним нагонять?

— Что ты, Микола, стыдом стращаешь? Оставь меня в покое.

— Нет, не оставляю я тебя в покое... Мне еще надо поговорить с Настечкой, с Ганной, передать им привет от Илька Палийчука. Вы же с ним родня.

— Хорошо ему, что он теперь в долине живет, — вздохнул Стецюк и вдруг обозлился.

И Микола понял глубину печали Дмитра: если уж гордый горец, больше всего на свете любящий свои бедные горы, позавидовал жителям долин, стало быть страшное горе скрутило его.

* * *

Вот он, гуцульский Бескид.

Синие дебри лесов в могучем вздохе поднялись к расплывчатой полосе дождя, и по верхушкам деревьев, как отражения долинных потоков, тянутся ввысь русла тумана, переливаясь в расщелины туч. Вокруг мелодично журчит по камешкам вода, и движение невидимых струй можно изучать по легким, как дыхание, теням тумана. И до чего же здесь девичьи голоса напоминают пенье ручьев! Мелодия, кажется, не вырывается на простор, а грациозно кружится в глубокой теснине. А на полонине, верно, будут другие песни. «В самое ближайшее время пойду туда».

С этой мыслью Григорий Нестеренко входит на зеленый двор Сенчука. Сюда уже собираются люди с ближайших гор. Из села пришли только Катерина Рымарь, ее подруга Мариечка Сайнюк и долговязый, с детски-доверчивым выражением лица Лесь Побережник, изумивший людей своим появлением без жены.

— Лесь, ваша Олена не разгневается, что вы один пришли?

— Лесь! Каким это чудом вас жена от себя отпустила?

Лесь, должно быть, привыкший к таким шуткам, вежливо отвечает:

— А вы о моей жене не заботьтесь, она еще придет поговорить с вами.

— Лесь, а кто первый пойдет в колхоз — вы или жена?

— А чего вперед загадывать! Пойдут люди — пойдем и мы с женой.

— Неужто вместе? Жена не раньше?

— Ваша, может, и раньше, — она, куманек, не такая неповоротливая, как вы. Есть еще вопросы, или, может, умных речей послушаем?

— В самом деле, пора послушать, — отозвался дед Олекса и, опираясь на палку, придвинулся поближе к Лесю. — Неужто вон тот, безусый, и есть пан агроном? — тихонько спросил дед у Леся, кивнув на Нестеренка.

— Говорят, что агроном, — пожал плечами Побережник.

— Ишь, какой зеленый, а уже агроном! И что только большевики с людьми делают! Я в его годы только чабаном нанимался на полонину. — И он обратился к Лесю уже с надеждой: — Так, может, и мой внук в такие годы станет паном агрономом?

— Товарищем агрономом, — деликатно поправил Лесь. — Ежели есть большая охота и голова на плечах — станет.

— Есть и то и другое, — заверил дед.

— Лесь, а чего ты, в самом деле, без Олены пришел?

— Чтобы вас удивить новинкой.

Нестеренко, с волнением осматривая это своеобразное собрание жителей одного края села, пока только в общих чертах улавливает смысл происходящего, и ему непонятно, почему в сузившиеся глаза Сенчука заползает беспокойство. А тот видит нескольких притихших, хмурых горцев и, почти безошибочно отгадывая, что у них побывали бандеровцы либо монахи, наперед прикидывает, когда и как ему поговорить с каждым отдельно.

Все с глубоким вниманием выслушивают рассказ Нестеренка о жизни в колхозах восточных областей. Звучат названия колхозов, фамилии людей, Героев, цифры, стоимость трудодня. Собрание постепенно оживает, и юноша с радостью отмечает про себя, что он верно поступил, построив беседу только на жизненных, известных ему фактах.

Но радость оказалась преждевременной. Когда он, уже окрыленный первым успехом, заговорил о работе самоходного комбайна, дед Олекса насторожился и вдруг расхохотался. Палка завертелась в его слабых руках, как пест. Несколько других гуцулов понимающе переглянулись и тоже затряслись от иронического смеха.

Агроном совершенно растерялся. А дед, охая, выпустил палку из рук и присел, держась за впалый живот.

— Ой, спасите, люди добрые! Ой, не могу! Выходит, этот комбайн сам и ходит, и косит, и молотит, и солому откидывает, и веет, и зерно высыпает... Так, стало быть, он один все село может заменить?.. Ох-ох-ох!.. И хороший вы человек, ой, хороший, — обратился дед к Нестеренку, подымая посох, — а такое отмочили, что и мухи кашляют. О такой машине и сам бог при сотворении мира не думал.

— А большевики подумали и придумали! — с жаром вырвалось у Нестеренка. Он чувствовал, как ударившая в лицо кровь все гуще заливает щеки, и смущался и сердился на этот румянец юности, словно бросавший тень на его слова.

— Так это большевики придумали? — недоверчиво переспросил дед. Неровная сетка морщин на его лице на миг застыла, но тут же вновь затряслась от хохота.

— Не шутите, пане агроном, ой, не шутите, не может быть такой машины... Чего не должно быть на свете, того и не будет. Уж поверьте мне... — и, исполненный уверенности в своей правоте, дед стал тихонько оседать на колоду, держась за свой сучковатый посошок.

— Не падайте, дедушка, — поддержал старика Лесь Побережник, — поберегите свое здоровье до встречи с комбайном.

— Лесь, и ты веришь в эту болтовню?

— Наполовину верю, а наполовину нет. Как своей Олене, когда она рассказывает, как все дешево без меня купила: всегда наполовину уменьшит цену... Комбайн... это надо подумать...

* * *

Катеринка, не выпуская руку Мариечки, с волнением поглядела на Григория, и он, пробудясь от задумчивости, удивился: оказывается, этот певучий голос доносится не с поднебесного Бескида, он звучит рядом — протяни руку и ощутишь трепетное дыхание. Агроном хотел попросить прощения за невнимательность, но побоялся, что оборвет этим поток мелодичной речи, который уже заполонил его руки, тело и вот-вот заполонит сознание.

— Вы не гневайтесь на деда Олексу. Он, товарищ агроном, ни во что не верит, пока не увидит своими глазами. Даже в бога не верил, когда надо было верить, при польской власти. Сидел над резьбой и на рождество, и на пасху, и на трех святителей, и на сорок мучеников. Так церковь на него епитимью наложила... А думаете, когда пошел слух, что советы будут наделять землю, поверил? Не поверил, как и моя мама. И не верил, что внук его станет студентом. Этот дед сам расставляет капканы всем ораторам на собраниях, а об его ошибках и не пикни — разозлится, насупится, как три горя и четвертая беда. Вот и Мариечка об этом скажет. Так уж вы не сердитесь, товарищ агроном.

— Ну, раз и Мариечка подтверждает, не буду, — рассмеялся Григорий, все еще не веря, что этот певучий вечер, и ручеек, и две гуцулки у огорожи в своем волшебном наряде — реальность.

— Мариечка, — Катеринка толкнула подругу в бок, — скажи что-нибудь, а то товарищ агроном и на нас рассердится.

— И хорошо сделает: нечего пустыми речами отрывать человека от дела, — стыдливо ответила та. — Будто товарищу агроному без нас не известно, какие есть в горах несознательные старики! Если принимать близко к сердцу все их разговоры, можно подумать, что на свете не одна земля, а две: одна — ихняя, старая, маленькая, затиснутая горами, а другая — та, на которой все люди живут.

— Вот это сильно! — вырвалось у Нестеренка. Необычное сравнение он отнес не столько к здешним старикам, сколько к жалким иждивенцам, нахлебникам общества, которые сами не знают, чего хотят от жизни, и не делятся с окружающими ничем, кроме прокисших жалоб. — Да ты, Мариечка, молодец!

— И я это говорю, а она сомневается, как дед Олекса, — оживилась Катеринка, прижимаясь к подруге.

— И я это говорю, — отозвался из темноты Сенчук. — Девушки, приходите завтра к озерку. Знаете, что оно может вам принести?

— Как не знать! Воду, — одновременно ответили подружки.

— Нет, славу.

Девушки изумленно и недоверчиво вскрикнули, покачивая головами, засмеялись.

Очевидно, это закон молодости: она стоит рядом со всем лучшим на земле. Пусть же никогда не покроется это соседство сереньким туманом мелочей.

* * *

Девушки с песней ушли в долину, а Нестеренко еще долго стоял на лугу, ощущая под ногами биение подземных ключей. Этот ток чистой крови земли передается сердцу, и оно подымает тебя на крыльях чувств, в голове расцветают мысли, как на полонине цветы, и уже кажется, что ты жил, работал, учился для того, чтобы прийти скромным тружеником в этот горный край, где не видно даже линии горизонта, как не видно конца твоим помыслам.

«Люди, для вас мое сердце!» — не ты сказал эти слова, но они, как воздух, сопровождают тебя всюду, они — суть твоей жизни, и ты будешь утверждать это до последнего дыхания. И даже противно подумать, что есть на свете страшные человеконенавистники, которых бесят солнечные блики в глазах ребенка, и кусок хлеба в руке трудящегося, и непорочная девичья улыбка, и мать, склонившаяся над колыбелью. Какая глубокая ирония природы над этим социальным кренизмом: он считает, вернее —

кричит, что обладает тем, чего у него нет и не «может быть, — разумом и будущим. В его жалком до дикости мышлении категория разума безнадежно спутана с категорией страха, и при помощи этой последней он надеется править человечеством. Хуже, что это убожество прикрывается хитроумными дымовыми завесами, начиная от несущих заразу, как бактерии, газетных литер до кадильного чада, затуманивающего и строгие лики святых и непросветленные, доверчивые головы мирян.

«Нет, это логово», — припомнилась Григорию выразительная характеристика Сенчука. И даже взглянуть не захотелось в ту сторону, где из камней торчал обломок зуба дракона, хитро окутавший себя клубами тумана и ладана.

На горах, словно развешанные, светились редкие огоньки. У реки они собрались в коротенький пунктир. Может, это и не огоньки, а выплеснутые на берег отблески звезд? Они протягивают к твоим глазам лучики света, а ты стремишься представить себе жизнь обитателей запечья и простираешь к ним тепло своего сердца, ибо и там ведь живут твои еще неведомые друзья. Тебе предстоит возложить на свои молодые плечи часть их забот, наполнить глубины души их поэзией и самому творить ее, ибо такова уж природа коммуниста, начинает ли он свой путь или стоит перед его завершением.

А здесь есть к чему руки приложить. Даже поверхностное знакомство с Верховиной и подгорьем подстегнуло твоё воображение, привычные представления о способах обработки земли рассыпались, и в сознании проступили контуры будущей желанной работы. Здесь ты впервые в жизни встретился с пережитками прапрадедовского земледелия. На раскорчеванной вырубке гуцул сеет только овес и мелкую, немощную бурьшку¹², разрушая в три-четыре года природное плодородие почвы. Одичавшая земля лежит перелогам, зарастает кустарником либо заболачивается. Ливни вымывают известь, и от этого почти вся Верховина страдает повышенной кислотностью. Почему же мудрецы из областного управления сельского хозяйства не додумаются улучшить почву известью и люпином? И что же это за обработка земли, когда пахотный слой не превышает двенадцати — четырнадцати сантиметров?.. Первые же неотложные агротехнические меры помогут удвоить урожай. А низинку на берегу Черемоша начнем осваивать сейчас же. Что она покажет?

С этими мыслями молодой агроном вошел в хату. Микола Панасович еще сидел над книжкой, шевеля губами.

— Что, отстали наши горы от долин? — доверительно намекнул он на стычку с дедом Олексой.

— Что-то он скажет, когда увидит у нас в будущем году комбайн? — улыбнулся Нестеренко.

— Выкрутится.

В это время со двора донесся топот копыт, и в раскрытое окно внезапно заглянула лошадиная голова.

— Это что еще за Сорочинская ярмарка? — вскрикнул от неожиданности Нестеренко.

— Ха-ха-ха! Говорите, Сорочинская ярмарка? Так получайте ярмарочные подарки! — Из темноты донесся чей-то могучий довольный смех, и в окно со стуком полетели два небольших, туго набитых мешочка.

— Здорово, Илько! — радостно воскликнул Сенчук, поднимаясь из-за стола. — Ты бы уж заезжал на коне прямо в хату.

— И заехал бы, будь у вас дверь повыше, а то нагибаться неохота. Здорово, Микола!

— Здорово, братец! Знакомься: Григорий Иванович Нестеренко, агроном.

— Илья Палийчук, председатель колхоза! — не без гордости ответил гость. — Поглядите, что я вам привез! — Он быстро развязал один мешочек, и в его большой пригоршне запрыгали отборные грецкие орехи.

— Ого, двумя наешься! — удивленно заметил Сенчук.

¹² Бурьшка — сорт картофеля.

— Только затем и вез, чтоб тебя угощать! — возмутился Илья. — Посади, вырасти, тогда и ешь. Вот каким добром обсадим свои дороги! Ну что, будешь теперь попрекать меня редиской? Я этот орех в лесу нашел. Лет ему, верно, около двухсот. Стоит, как роща, и густой-густой, прямо в глазах рябит. Наш агроном посмотрел на него и в пляс пустился. «Вот эндокарп! Всем эндокарпам эндокарп!» И на что он окрестил наш грецкий орех таким страшным словом — ума не приложу! Вот привез тебе, Микола, два мешочка, на новое хозяйство.

— Спасибо, Илько, — Сенчук растрогался. — Порадовал! Порадовал!

— И еще порадую тебя: еду в Киев! Министерство сельского хозяйства вызывает. И есть у меня почти научная идея: забраться в научно-исследовательский плодово-ягодный институт. Если не дадут нам новых саженцев — украду, а в колхоз привезу. Как вы думаете, будут судить за это или нет еще такого параграфа в судебных книгах? — Он расхохотался на всю хату и, не ожидая ответа, заговорил мечтательно: — Только бы погода установилась. Нет ничего лучше, чем взобраться на самые вершины наших гор. Посмотришь, поглядишь вокруг — всюду поднимаются наши воссоединенные земли, залитые солнечным светом... Высоко в небе замер над полониной орел, но и он не видит конца-края нашей силы... Ты, Микола, не смейся! Я еще под старость стихи об этом напишу. Мои коломыйки даже один кандидат записывал и хвалил!

— Ну, раз хвалил, стало быть ты всю жизнь будешь о нем вспоминать, — лукаво подмигнув, заметил Сенчук.

— А по-твоему, я должен всю жизнь вспоминать, как меня критиковали? Я еще не такой сознательный, Микола... Может, выпьем по чарке, а то я к тебе всю дорогу натошак тряся.

Могучий, с размашистыми движениями и раскатистым голосом, он кажется Нестеренку настоящим орлом. И это ощущение не оставляет агронома, даже когда Сенчук умно подшучивает над какой-нибудь ошибкой или неуклюжей фразой Палийчука. Григорий сперва подумал было, что перед ним противоположные натуры, для которых, очевидно, спор так же необходим, как и дружба, но затем увидел, что резкая горячность есть и у Микола Сенчука, только она заложена глубоко, как зерно в земле. А у Палийчука все наружу, и потому даже его недостатки вызывают не возмущение, а улыбку...

«Что ж, это недостатки роста!» — думает Нестеренко, верно определяя их сущность, и с еще большей симпатией следит за речью и ловкими движениями председателя, наливающего чарки.

— А что ты думаешь, Микола! На будущий год наш колхоз станет миллионером!.. Вас, товарищ агроном, этим не удивишь, а у нас, где крестьянин колот каждую спичку на четыре части и, причитая, сваливал детей, как в могилу, в заокеанские трюмы, это большая партийная новость. Голяк становится миллионером и человеком! Стало быть, воссоединенная земля и нас наделяет своим счастьем. Славно, а?

— Славно!

— Так выпьем за хорошие новости!

— За то, чтоб их все больше было! — Сенчук с любовью смотрит на друга своими ясными карими глазами. — Ты сам прикинул в голове свой миллион или с людьми советовался?

— С людьми. И в райкоме обдумывал с двумя секретарями. А третий сердится на меня. Погорячился я немного, ввернул ему кое-что самокритическое, а он и запомнил. Здоровается теперь словно не с председателем колхоза, а с подозрительным элементом. Тоже, видно, не любит критики, хоть и начальство... У тебя огурчика нету?.. Ну, обойдемся без кислого, на сладком проживем... И не только говорил, Микола, а и втолковывал по-всячески. Одним больше про идею, другим больше про доход. На это у меня терпения хватило. Даже неверующих зажег цифрами и надеждами. Простая цифра: увеличить урожай всего на два центнера с гектара — при искусственном опылении этого можно добиться, — и вот тебе тысяча шестьсот центнеров, и все идут на трудодни. Ведь это целых девятнадцать пудов

добавочной оплаты на каждое хозяйство. Да и овцы дадут нам теперь немалую прибыль. Так вот и подсекаем помаленьку всякую вражью агитацию. Свеколка нам в этом году тоже помогла. Пускай не много еще она дала сахару колхозникам, а уже прищемила черные языки — перебираются от нас в другие места. Это переселение радует меня. Мы, коммунисты, поставили на ноги все село, когда заявили: «Люди, к нам теперь стучатся и богатство, и наука, и все, что хотите. Так отворяйте же им настежь двери своим честным трудом». И двери начинают отворяться. Кое у кого в хате еще поскрипывают, кое-где выглядывают только в узкую щелку, но отворяют. У тебя, на горах, труднее, ты своих людей и за два дня на собрание не созовешь — все разбросано... Ну, еще по одной. А Марку моя Ганна вот калачик передала. Из первой колхозной пшеницы. — Илько подошел к постели ребенка, и, наклонившись, положил у изголовья узелок с подарком. — Жениться тебе надо, Микола.

У мужчин одновременно вырвался вздох, но каждый сделал вид, что не заметил этого.

Откуда-то издали в раскрытое окно долетел отзвук грустного мотива, и Палийчук, исподволь присоединив свой голос, задушевно пропел первые слова печальной галицийской песни; ритм и мелодия в ней были надломлены, как голос скорбящего человека. Сенчук стал тихонько вторить, и в напеве зазвенели новые ноты печали.

Нестеренко не узнавал гуцулов — на их задумчивые лица легла былая печаль отцов, и два однополчанина отдались трогательной песне о судьбе солдата первой империалистической войны:

Над горою пуля пронеслась,
В грудь герою пуля та впилась,
В волны тихого Дуная
Кровь рекою полилась.
А в Дунае тихая вода,
Там стояла женушка моя...

Когда спели, Илья Палийчук обнял своего друга, отвел глаза в сторону.

— Прощай, Микола... Поеду.

— Куда ж ты, на ночь глядя? — Сенчук удивился и рассердился.

— Не сердись, Микола. Спели — и вспомнилась мне моя Ганна. Вспомнилось, как она ждала меня с войны... Ну, что тебе говорить? Сам знаешь... Будь здоров, Микола.

— Счастливого пути, Илько. Ганне привет... Ох, и буен же председатель у вас в колхозе!

— Сегодня тебе критикой меня не донять, — засмеялся Палийчук. — На обратном пути из Киева непременно заеду.

Во дворе он только тронул рукой коня и уже очутился в седле, птицей вынесся на леваду. Нестеренку долго еще слышался из темноты топот копыт и отголосок новой, незнакомой песни.

* * *

В молодости любовь не приходит неожиданно: она берет свое начало в затаенной надежде, в предчувствии, как источник берет свое начало в глубинах подземных вод.

На пороге любви растревоженное сердце само не знает, чего хочет и что ведет его вглубь вечеров, где задушевно звенят песни и смех. Но как веришь, как ждешь, что вот-вот встретишь и тот самый взгляд и ту самую улыбку, с которой не разминуться тебе, которая расцветает только для тебя, встретишь и потянешься к ней, как подсолнух к солнцу, называя свою любовь и солнцем и звездой, дивясь новым словам и своему счастью! И все окружающее станет новым, непривычным. И вид у тебя тоже станет непривычный, — все будут спрашивать, не потерял ли ты что-нибудь, и никто не поймет, что ты, наоборот, нашел.

У лесоруба Василя Букачука под вечер уже трижды спросили, не потерял ли он

что-нибудь. И хотя этот вопрос задавали ему разные люди, парень сердито накинулся на приемщика Володимира Рыбачка, как будто один только он спрашивал все время об одном и том же:

— Не понимаю, сколько можно твердить об одном? Что, у тебя язык на холостом ходу или тебя Иван Микитей под бок толкает? Если хочешь знать, не потерял я, а нашел.

— Оно и видно, — добродушно засмеялся молодой приемщик. — А ты не сердись — печенка заболит.

— Ой, не то у него болит, — Иван Микитей с деланным сочувствием покачал головой и присел на пенек свежесрубленной пихты. — Сердце у него заболело, и никто его не утешает, кроме молоденькой врачихи из Гринявки.

— Еще одно слово — и не меня, а тебя придется лечить! — смуглое лицо Василя побагровело от гнева. Его любовь была еще в той поре, когда ее скрывают, думая, что никто ничего не видит.

Иван Микитей, зная натуру товарища, встревоженно вскочил и попятился, лукаво подмигнув Рыбачку, и оба сморщились, чтобы не расхохотаться.

Василь, хмуро глянув исподлобья на парней, стал спускаться, и тогда вдогонку ему, как камешки с горы, покатился смех.

Василь обернулся, погрозил кулаком, а парни в ответ широко развели руками.

— Да мы же не над тем смеемся. Мы знаем, что у тебя никакого врача нету! — и они снова расхохотались.

Василь смерил лесорубов подозрительным взглядом и ничего не сказал.

— И на что скрывать любовь? — удивляется Рыбачок. — Я горжусь ею и своей любушкой горжусь.

— Любовь у каждого идет своим путем и каждому кажется самой лучшей, — рассудительно пояснил Микитей и, глянув вниз, снова прыснул. — Василь-то уже не идет, а летит к своему врачу.

Чем ближе Василь подходил к Гринявке, тем легче и тревожнее становилось у него на сердце. Последние дни принесли ему и большую радость и заботу. Мариечка уже выходила к нему, не убежала даже, когда в сад вышел дед Савва, парень побывал и дома у девушки, но она то улыбкой, то шуткой, то строгим взглядом отводила его руки и пылкие слова любви.

— Мариечка, я без тебя жить не могу...

— Точнехонько эти слова я слыхала в кино! Понравились тебе? — пела она в ответ и смеялась.

— Ты опять смеешься, а у меня сердце разрывается на четыре части.

— А это уже, Василько, из песни. Ты свое что-нибудь скажи.

И каждый вечер он говорил что-нибудь свое, а девушка отвечала, смеясь, что это не его, и, вероятно, оба были правы.

За поворотом леса оборвались, вечер сразу посветлел, но ручейки на лужайках зажурчали глуше, словно их мелодии процеживались сквозь корни и тени пихт. Совсем недалеко раздалась девичья песня; она, казалось, не плыла, а тихо шла, разыскивая свое счастье, как Василь разыскивал свое.

И парень остановился, пораженный силой чувства, изливаемого двумя обнявшимися голосами. Так петь можно только в пору любви или в пору надежд.

Будь я звездочкой прекрасной,
Светила бы ясно
Ему, миленькому,
Пока б не погасла.

— Мариечка, — прошептал парень, переполненный любовью к ней и жалостью к себе. Он с ужасом ощутил, как в уголках век защемило от слез, которые прежде не вырвала бы у него даже пытка.

Он догнал девушек, но даже не сумел поздороваться с ними. Катеринка насмешливо и удивленно посмотрела на лесоруба, покосилась на подругу и юркнула в темноту.

— Василько, что с тобой? — Не он, а она первая протянула руку, с изумлением присматриваясь к парню.

— Не знаю, Мариечка! — с болью вырвалось у него, он глянул на девушку и, даже не пытаясь на этот раз выдумать что-нибудь новое, заговорил словами песни: — Как ты, Мариечка, светишь ясно...

— Вот теперь ты, Василько, сказал свое, — неожиданно ответила Мариечка и, застыдившись, прильнула к нему...

* * *

Жена, хрупкая, на последних месяцах беременности, с лицом асимметричным и по-юному привлекательным, задумчиво подошла к мужу, и он отчего-то сразу почувствовал себя виноватым, хотя даже придумать не мог никакой вины.

— Едешь уже, Михайло? — на него посмотрели из-под длинных черных ресниц большие темно-серые глаза. Когда-то он немало был удивлен, убедившись, что глаза у его любимой не карие, а серые. Он и до сих пор, вспоминая в одиночестве жену, видел ее кареглазой, такой, как в дни первых встреч.

— Еду, София, — весело ответил он, хотя вопрос жены вовсе не веселил его. — Ты что так смотришь, точно в первый раз провожаешь? Не горюй. Сколько бы ни было у мужа дорог на свете, все ведут к жене, к тебе.

София вяло усмехнулась.

— Вечно ты шутишь, а сам тайком от меня снова собираешься в горы.

— Я — в горы? — искренне удивился Михайло, словно и впрямь не думал ехать на Верховину. — Поеду в самое нижнее село.

— Правда, что в нижнее? — в крапчатых глазах Софии заискрились капельки радости, но тут же и погасли. — Михайло, зачем ты неправду говоришь?

— Ты, я вижу, моего шофера больше слушаешь, чем меня. Я ему укорочу язык! — он уже начинал сердиться, выдавая себя с головой.

— Не злись. Скажи, в горы собрался?

— Ну, конечно. Я ведь там вырос, знаю их, люблю, как ты свое Подолье. Не понимаю: и чего ты их так боишься? — Он быстро зашагал по комнате, и на его бронзовые, пересеченные складками щеки, на сухие губы легло выражение обиды.

— Так, что-то нелегко на душе. И за тебя, и за ребенка тревожусь. Задержишься — я уже и места себе не нахожу. Должно быть, все молодые матери такие чувствительные.

— И чего тебе всякая дрянь в голову лезет? В пору материнства, я где-то читал, перед женщиной раскрывается новый мир и радость небывалых чувств. Так зачем же примешивать к ним всякую ерунду? — Он по привычке выпрямился, словно обращался не к жене, а к аудитории.

И это хорошо знакомое, свойственное только ему движение немного успокоило женщину, рассеяло привязчивый страх. Она подошла к мужу, взяла его за руки и посмотрела на него снизу вверх, как смотрела бывало в далекие вечера своей юности. Очевидно, она знала, чем можно повлиять на этого вспыльчивого, ершистого и доброго Михайла, ибо после этого ее взгляда и в самом деле наплывали на него какие-то светлые воспоминания и он смягчался.

— Не волнуйся, София, все будет хорошо.

Он привлек к себе жену, и она доверчиво прильнула к нему, как ребенок.

— Михайло, а как твоя диссертация?

— Ход конем? — спросил он, прищурясь. Михайло знал слабое место жены: она почти всякий раз с помощью диссертации пыталась оторвать его от поездок и кампаний.

— Меня так тревожит эта банда Бундзяка! Ты же знаешь, какой он изверг, как истязал

людей. Даже подумать страшно, — по ее худым плечам током пробежала дрожь, и она еще крепче прижалась к мужу.

— Да, это хитрый палач. Но камни наших гор уже горят у него под ногами.

— Значит, сейчас едешь в горы? — снова спросила София, поняв, что мужа не переубедить.

— Сейчас, София. Мне надо быть с людьми, — стал он объяснять ей извиняющимся тоном.

Она вздохнула и так коснулась своими маленькими пальцами его пальцев, что он прервал объяснения. София смотрела на него, словно впервые видела эту удлинненную, правильной формы голову, спокойные зеленоватые глаза, путаницу каштановых, немного вылинявших за лето бровей, заштрихованный складками упорства и раздумий высокий лоб и сжатые губы.

— Поезжай... Только будь осторожен. Ты ведь уже отец.

— Не полноценный еще, но отец.

И оба улыбнулись, по-разному охваченные одним и тем же порывом, которого с тревогой дожидались целых пять лет.

«Сын, сынок...» — мысленно проговорил Михайло Гнатович и был немало удивлен, когда жена вслух поправила его:

— Дочка, Михайло.

— Ты что, читаешь мои мысли?

— Не думай, что ты такая уж закрытая книга.

София засмеялась, и ее асимметричное лицо стало еще привлекательнее. У нее была счастливая наружность — она непрерывно менялась к лучшему, и казалось, конца не будет этому совершенствованию. Михайло Гнатович за все годы брака так и не смог составить себе представление о внешности жены — всякий раз она встречала его иною, а изменения подчас были просто удивительны: незаметная женщина вдруг расцветала на глазах, становясь красавицей...

Осенний день надвинул на горы серые материка облаков, порою их дымчатые клочья задерживались над какой-нибудь кучкой жилищ, и тогда казалось, что облака рождались в этих жилищах вместе с дымом.

На дороге замаячила одинокая женская фигура. Платок клинышком спадает на вышитый киптарь¹³, из-под которого виднеется расцветенная в яркие тона пестрая плахта-колячка¹⁴. Вот путница услышала гудок машины, прижалась к горе, оглянулась, и Чернега узнал ее.

— Ксения Петровна, садитесь, подвезу!

— Спасибо, Михайло Гнатович. Вы в горы?

У Ксении Петровны Дзвиняч открытое, привлекательное лицо, а в уголках черных задумчивых глаз мелькает попеременно то печаль, то улыбка.

— В горы. А вы к деду Олексе?

— К кому же еще! — женщина почему-то вздохнула.

«Мужа вспомнила», — с сочувствием подумал Михайло Гнатович. Он хранил в памяти не только лица и фамилии жителей. В его сердце запали их несложные горькие биографии, так же как и легенды об этих горах, где каждый лесок, каждая лужайка, каждый родник заключает в себе частицу горестей и чаяний народных. Попадались и совсем путанные люди. На их искривленную, словно корень, жизнь лег отпечаток страха, чуждых влияний. У таких не хватало отваги отделить наносное от основного, сорвать с души наросты ошибок,

¹³ Киптарь — меховая безрукавка.

¹⁴ Колячка — род шерстяной узорчатой юбки из одного полотнища (в отличие от обыкновенной плахты, состоящей из двух полотнищ).

падений, совершенных под угрозой оружия, с голоду или в надежде выбиться в люди. Теперь на них делали ставку враги, заслоняя от них свет новой земли призраками все того же страха или дулом автомата. Надо было тщательно разобраться в этих биографиях, помочь человеку стать человеком.

«Работать — значит знать людей», — это было основой деятельности Чернеги, и он жадно изучал людей, с любовью следил за их ростом и протестовал и радовался, когда обком забирал выращенные им кадры в область на ответственную работу... Так и тянулись в горах и долах его будни, и не хватало ему в основном одного — времени.

Не раз бывало обещал Софии: «Приеду в десять, пойдем вместе на последний сеанс в кино, а потом за диссертацию». Но било десять, проходил последний сеанс, приходило беспокойство, а его все не было. Ночью, сквозь беспокойный сон, София слышала, как он пробирался на цыпочках в кабинет, и тихо окликнула:

— Михайло!

— Ты не спишь? — смущенно спрашивал он, садясь возле нее. — А мы сегодня так интересно провели время на родине Марка Черемшины! После собрания зашли к Дмитру Осичному. Старик ведет историю села, начиная с того времени, когда каждое селение, расположенное среди горных лесов, отдавало старосте три куницы, две курицы, два сыра, два бревна, гуню¹⁵, одеяло, подпругу, десятую часть пчел, двенадцатую часть свиней и волов... А при пилсудчине, знаешь, какие были дани, подати и добавки к ним? Даже перечислить трудно: и государственные, и уездные, и земельные, и дымовые, и подоходные, и мирские, и номерные, и школьные, и дорожные, и еще целый хвост. Вот погляди, — он подавал ей пожелтевшие квитанции — прах разбитой государственной машины. — Теперь понимаешь, товарищ литератор, почему галицийские писатели воспевали землю, черную от горя, а не в золоте колосьев?... Есть там замечательный рассказ о гибели под Кутами русского солдата в 1914 году. На могиле его не переводятся живые цветы, а в 1944 году один наш офицер отыскал эту могилу, — там был похоронен его отец. Так сходятся пути отцов и детей... В кино я, может, и не увидел бы такого.

— Не оправдывайся, — София с улыбкой запускала руки в его поредевшие волосы. — Завтра никуда не едешь?

— Надо в соседний район, в Косов, наведаться, — Михайло хмурился, и она по выражению лица его понимала, что там его ждет какая-то неприятность.

— Зачем?

— Поеду ссориться с руководством артелей художественных изделий, с лекторами училища прикладного искусства и районным начальством. Ты подумай, до какой жизни они дошли! В районе есть знаменитые резчики. Надо гордиться их самобытным искусством и присуждать премии. А недотепы из артелей сажают мастеров за изготовление ручек и линеек: так, мол, скорее живая копейка посыплется. Это ж кретинизм, торгашество и черт знает что! А потом нужно еще к одному инструктору присмотреться. Знаменитый славянский орнамент, восходящий еще к третьему веку, он приписывает готскому влиянию. Интересно, под чьим влиянием он сам находится?..

Машина, запыхавшись, едва ползла вверх.

— Вот и усадьба деда Олексы, — заявила Ксения Дзвиняч, выглянув из машины.

Гуцульская хатка прилепилась к горе, как ласточкино гнездо. Над дверью красуется гостеприимная резьба — восход солнца.

Угрюмый дед Олекса отворяет дверь и вдруг улыбается.

— Приехали долгожданные гости. А вчера были непрощенные, — он понижает голос и оглядывается.

— Знаю, дедушка. Все живы-здоровы?

— Слава богу, пока все, только кур у жены поменьше стало. Потаскали двуногие

¹⁵ Гуня — сермяжная верхняя одежда у гуцулов, род куртки.

хорьки. И что это делается?! Даже монастырь угрожает уже не адом, а смертью. Келарь услышал, что мы о колхозе думаем, — прибежал с проклятьем и принес мне от игумена три гвоздя — на гроб...

— Мы эти гвозди самому игумену в гроб вобьем! — с гневом вырвалось у Чернеги. — Скоро заколотим все черные норы.

— Их не забивать — смолой заливать надо! — с жаром проговорила Ксения Дзвиняч.

— Ой, надо, доченька, надо! — кивнул головой старик. — А вас, Михайло Гнатович, люди издалека слышат, — он обвел рукой широкий полукруг.

К хате Олексы стекались по горным тропам мужчины и женщины, все они, иные радостно, иные сдержанно, здоровались с Чернегой. Он проникал в их мысли, отыскивал спокойные, человеческие слова, и они плавил лед угроз и прорастали скромным колосом, всегда радующим глаз и сердце крестьянина. Михайло Гнатович не принадлежал к любителям часто проводить собрания, выступать с речами, он любил разговаривать с людьми, стоя в тесном кругу собеседников.

— Ну что, наговорили вам всякой всячины про колхоз? — прищурясь, спросил он окружившее его живое кольцо.

— Ох, наговорили! — со вздохом ответил гуцул в измятой крысане.

— И про то, что на трудовень ничего не получите, и про то, что с женами будет неладно?

— Так, товарищ секретарь. Такого наслушались об этих колхозах, что и вспомнить страшно.

— А не послать ли нам делегацию в колхозы, чтобы не так страшно было вспоминать? Пусть поглядят, как там живут и хозяйничают: так ли они бедствуют, как наговорили враги, или есть им чем похвастать?

— Вот это славная мысль!

Все стоявшие вокруг одновременно закивали головами, и с угрюмых лиц начала даже исчезать накипь страха перед вражескими угрозами.

* * *

Предрассветный звездный посев расчертил небо над горами легкими пересекающимися бороздками, а вершины гор выступают из тьмы единым величественным венком, четко обведенные кружевной каймой еще недвижных лиловых пихт. На одной горе, как на материнской груди, спит несколько гуцульских хаток; ручеек поет им колыбельную, а полянки с островерхами, похожими на журавлей стожками сена навевают сказочные сны.

Горы с причалившими к ним плотами облаков дышат синими снами. Но вот скрипнула дверь, и, касаясь головой притолоки, на пороге появляется молодой гуцул. На нем сардак¹⁶ внакидку, на голове крысаня, на плече топор.

— Василь, сынок, гляди, возвращайся домой пораньше. Завтра святое воскресенье, к отцу пойдешь на полонину, — доносится из глубины темной хаты голос матери.

— Ага! — весело отвечает парень.

— Отец-то один у тебя, как Черемош на свете, — для вящей убедительности добавляет мать, выходя на порог.

— Ага! — так же радостно и с оттенком превосходства роняет Василь и, расправив грудь, направляется к соседней хате.

— Отец ждет тебя, как месяца молодого, давно не видал. Так уж пусть там собрание без тебя закроется.

Василь оборачивается, улыбаясь, кивает головой и начинает выбивать какую-то мелодию на стекле соседской хаты.

¹⁶ Сардак — гуцульская верхняя сукодная одежда, род куртки.

— Иван, браток! Красная зорька стучится в окна!

В словах и в фигуре парня и впрямь есть что-то от утренней зари.

А хата отозвалась на слова Василя возней, загремела щеколдой, хлопнула дверью и вынесла на порог Ивана Микитея.

— Мастер ты, молодец, поспать! — укоряет друга Василь.

— Мастер! — вздыхает Иван. — Из-за этих девчат когда-нибудь и страшный суд просплю! И жалеть об нем не буду, ей-богу!

И оба смеются, как умеет смеяться одна беззаботная юность.

— И чему человек радуется? — притворно удивляется Иван, поправляя крысаню, из-под которой гнездом выбиваются русые кудри. — Моя Настечка и теперь слышит мой голос, дыхание мое. — И он посмотрел туда, где у подножия по-утреннему голубой горы виднелась белая хата его милой. — А у тебя одни горькие заботы. Ты живешь наверху, как гром, а Мариечка бродит внизу, как прикованная, и сохнет от любви. Холодно ей там одной! Хоть бы по радио... целоваться можно было!

И снова парни хохочут во весь голос.

— Посовестились бы, опришки! Люди спят! — предостерегающе кричит мать Василя.

— Ага! — как по команде, отвечают «опришки», потом одновременно озираются вокруг и внезапно запевают:

Ой, д#225;на-да-д#225;на-д#225;на
От поздна до рана.
Нету края нашей воле —
Нету больше пана!

— Опришки! — мать безнадежно махнула рукой, провожая ласковым взглядом парней, спускающихся по росистой тропке на горную дорогу. Потом, возвращаясь в хату, она и сама запела тихонько-тихонько, чтобы не разбудить малыша:

Ой, д#225;на-да-д#225;на-д#225;на
От поздна до рана...
Нету края нашей воле —
Нету больше пана!

неожиданно отозвался с постели детский голос.

— Ой, как ты, Петрик, напугал меня! — и глаза матери смеются, спеша навстречу глазам своего младшенького.

— Да разве песней пугают? Песней радуют, — рассудительно отвечает мальчуган, и весь его вид свидетельствует, что этот школьник придерживается уже в свои восемь лет собственных убеждений и способен даже поучать взрослых.

— И в кого ты такой вырос? — с улыбкой говорит мать, лаская сынишку.

— Еще и не рассветало, а вы уже... точно маленького...

Петрик, надувшись, выскальзывает из объятий матери и, пританцовывая, деловито надевает яркие гуцульские штанишки. Через минуту перед матерью стоит уже степенный гуцул.

— Василько ушел уже? — спрашивает Петрик.

— Полетел наш орел.

— Ну, так я за ним вдогонку!

Петрик, позабыв всю степенность, выскакивает за порог и, как олененок, бежит вприпрыжку по причудливой сети тропинок, а взгляд его, то опускаясь, то подымаясь, ищет на сизых очертаниях вершин и полянок фигуру брата.

* * *

А молодые гуцулы тем временем шагают по гребню гор, точно на танцы.

Солнце высекает из-за вершин первые радужные вспышки света и на облачках, на пихтах, на одежде парней играют, переливаются утренние краски. Лучи солнца стоняют тяжелую мглу с ручья, причудливо переплетающегося с другим. Разветвления певучих потоков спускаются вниз оленьим рогом и взбивают бурливый зеленый водопад; он низвергается стремглав с крутого обрыва и, совсем уже поседей, клубящейся быстринной вливается в Черемош.

По берегам реки покачиваются подмытые корни пихт, а их тени вместе с солнечными бликами ложатся на волны и пену широким причудливым узором. Здесь, на Гуцульщине, вековечный и неустанный шум реки неотъемлемая частица жизни, он пронизывает горы, долины, леса, он просачивается в каждое бревно хаты и в сердце гуцула, и сердце вместе с кровью разносит по телу этот певучий, прозрачный сок, эту поэзию поднебесных вершин, без которой горец не был бы горцем.

Песню гуцулов у озера услышали Сенчук и Нестеренко.

— Доброе утро, молодцы!

— Доброе утро, пане товарищ!

— А не выкинуть ли предпоследнее слово? — смеется Григорий.

— Можно и выкинуть! — парни кивают головами.

— Песни знаете?

— Ага, товарищ... пане... или уж выкинем последнее слово? — Смуглый красавец Василь Букачук весело смотрит прямо в глаза Григорию.

— Можно и выкинуть, — с лукавой улыбкой соглашается тот. — Какие же вы песни знаете?

— Какую скажете.

— Про полонину споете?

— Ага!

Парни переглянулись, сосредоточенно пошептались, выпрямились, и обветренные голоса покатали к Черемосу грациозную коломыйку:

В полонине при долине
Зеленое сено.
Ой, пойду я в полонину,
Там солнышко село.
Что за чудо, что за диво!
Сроду не бывало,
Чтобы солнце в полонине
Спало-почивало.

Григорий Нестеренко слушал коломыйку, широко раскрыв глаза.

— Философия! — удивленно вырвалось у него, когда мелодия потонула в кипении реки.

— Философия? — удивляется Василь. — Это значит — славно, красиво? — доверчиво спрашивает он у агронома.

— Славно, славно, парень!.. А про Черногору знаете?

— Как не знать!

Парни снова пошептались, и снова зазвенела песня:

Черногора, мать родная,
Душистые скаты,
Лес да лес, куда ни глянешь, —
Широки Карпаты!

Не родит нам Черногора
Ни рожь, ни пшеницу,
Творогом да простоквашей
Дай бог прокормиться.

— Не родит нам Черногора ни рожь, ни пшеницу! — Григорий еще с увлечением повторяет эти слова, а сам уже хмурится и оборачивается к Черногоре, холодно сверкающей вдали, на пороге поднебесья. — Будешь, Черногора, будете, широкие Карпаты, кормить своих сыновей хлебом!

Лесорубы пожимают плечами, пересмеиваются, потом Василь говорит словами своих отцов и дедов:

— С тех пор, как стоит мир и светит солнце, гуцул ни разу хлеба не наелся. Такая уж у гуцула земля, бедная, как нищенка. Как послал господь бог исконную бедность на карпатские горы, так и не отстает она от нас, как смерть от человека, не отстает, да и все как было по-старому, так и есть!

— Будет по-новому! Наестся гуцул хлеба, и бедная земля его наберется сил, зашумит зерно, как ливень. Невиданные стада покроют черногорские полонины. — У Григория по-молодецки раздались плечи, а брови упрямо сошлись над переносицей. Он как-то сразу похорошел, вырос: это в нем заговорило его дело, его мечта.

— Хорошо говорите. Вы, верно, пан учитель? — спрашивает Василь и сразу же спохватывается: — Предпоследнее-то слово выкинуть, что ли?

— Выкинь и последнее.

— Товарищ Григорий Иванович — институтский агроном, — с уважением объясняет Микола Сенчук.

— В высоком институте учился товарищ! — удивляется Василь.

— Учился и окончил, — гордо говорит Сенчук, словно это он получил такое высокое образование.

Подбежал Петрик и остановился, прислушиваясь к словам взрослых.

— А ты грамоту знаешь? — спрашивает Григорий Василя.

— Знаю, как же! — гордо отвечает тот.

— Что умеешь?

— Что? Читать умею, расписываться тоже. Не очень ровно, однако умею. — И очень удивляется, когда все, даже Петрик, смеются над ним.

— Ах ты, баловник! А ну, с глаз долой! — прикрикнул Василь на брата, и тот белым камешком покатился по дороге, через лога и полянки, то и дело оборачивая к брату свое смеющееся лицо.

— Учиться надо, парень... А еще какие коломыйки знаешь?

— Какие скажете. — И он, наморщив лоб, запел:

Куковала кукушечка
В саду на рассвете.
Заседают и гуцулы
В Верховном Совете.

— И про любовь знаешь?

— И про любовь.

Нашел табак, нашел трубку,
Нашел в печке жару.
Нашел милку, нашел сердце,
Будет мне под пару.

— Ну, а про врагов? — все больше удивляясь, спрашивал Григорий.

— Сейчас вспомню.

Василь кивнул Ивану, парни отвернулись, пошептались и, взглянув на Григория, запели:

Лают разом три собаки
На белую глину.
Гитлер, Трумэн и Бандера —
Одна чертовщина.

— Может, вы сами и сочиняете их? — спросил в полном изумлении Григорий.

— А кто же за нас сочинит? — в свою очередь изумились парни. — Скажите, а что вы у озера делаете? И зачем вспахали вон тот клин?

— Хотим, чтобы в этой низинке хлеб заколосился.

— В этой низине? Ой, ой! — Василь и Иван покачали головами. — Да ведь тут, будь оно неладно, и бурьян не растет, а зерно вы и подавно даром загубите. Хоть пальцы грызите, все равно ничего не выйдет.

— Выйдет, ребята. Мы обновим почву в этой низине.

— Обновите?

— Видите озерко?

— Как не видеть? А зачем вы ведете к нему рукав от Черемоша? Поить будете?

— Товарищ агроном знает, зачем, — с достоинством проговорил Сенчук. — В пору паводка и дождей река начисто сносит с гор лучшую землю и... как его?.. гумус?

— Гумус, — кивнул Григорий.

— Вот-вот, гумус. А мы по этому рукаву и отведем частицу его в озерко. Сделаем водоотстойник, а потом удобрим низину илом, чтоб уродились и озимые и яровые. На вспаханной делянке мы уже сделали пробу.

— Высокая наука! — изумляется Василь. — И что же из нее выйдет?

— Высокий урожай и... новые песни. Сочините тогда?

— Ага! — одновременно отвечают гуцулы, недоверчиво осматривая и низину и золотое озерко, усеянное по берегам розовыми ромашками.

— Чтобы на таком черстве клочке что-нибудь выросло? — сомневается Василь. — И кто будет поднимать этот клин?

— Колхоз.

— Колхоз? Какой?

— Ваш, Гринявский, — отвечает Нестеренко.

— Да ведь его же нету еще?

— Так будет.

— Свет мой бедный! Дитя еще и не родилось, а ему уже со всех гор приданое собирают.

— А все для того, чтобы ты, Василь, сказал потом: не бедный, а щедрый свет мой, зажиточно живет на этом свете! Так гуцулы говорят?

— Так, товарищ институтский агроном!

— Предпоследнее слово можно выкинуть.

— А чести от того не уменьшится?

— Вот этого уж не знаю.

— А кто же будет знать?

— Люди.

— Дядя Микола, как там, в селе? — спрашивает Василь, втайне надеясь узнать что-нибудь о своей Мариечке.

— В селе все кипит. Те, кому жилось кисло да солоно, кто мозолистыми руками на

кулешу¹⁷ зарабатывал, думают, как бы соединить эти руки да взяться за работу сообща. Не будь врага да ядовитых языков, зажили бы мы в Гринявке совсем по-новому. А еще новость, — спокойно продолжает Сенчук, — наши люди поедут в восточные области Украины, а кое-кто и в Россию — поглядеть на колхозное житье-бытье, чтоб новая наука в сердце запала.

— И кто же поедет? — встрепенулся Василь.

— Сегодня собрание скажет. Ты не опасайся, Мариечку люди выберут.

— С какой это стати мне опасаться? — растерялся Василь. — И что мне за дело до Мариечки?.. А когда выборные поедут?

— Может, через неделю, а может и завтра, — лукаво глядя на Василя, говорит Микола Сенчук.

— Завтра! И Мариечка тоже?

— И Мариечка. А что тебе за дело до нее?

— Похоже на то, что не пойдет завтра Василь на полонину, а так припустится вечером в Гринявку, к Мариечке, что и постолы с обеих ног слетят, — с сожалением покачивает головой Иван.

* * *

Тесный временный двор машинно-тракторной станции сейчас напоминает выставку сельскохозяйственных машин.

Сколько же тут всякого невиданного добра... У Мариечки Сайнюк глаза разбегаются. Она, как перед картинами, подолгу останавливается у машин, ощущая, как гул моторов сотрясает землю у нее под ногами. Девушке и радостно и немного боязно.

— Эй, чернявая, кого ищешь? — Перед ней, смеясь, останавливается молодой тракторист Павло Гритчук, весь вымазанный в копоти и мазуте.

— Самого старшего ищущу — начальника машинно-тракторной станции.

— Самого старшего? — притворно вздыхает Гритчук. — Тогда ничего не выйдет: я самый младший.

— Не горюйте, и вы будете самым старшим. Только повремените, — в тон ему отвечает Мариечка. — Так, где мне найти товарища начальника?

— Вон он стоит, у комбайна.

— Спасибо, товарищ самый младший. Жаль, что не вы самый старший, — улыбаясь, благодарит девушка.

И впрямь было бы лучше, если бы ее просьбу мог выслушать этот тракторист.

— Мариечка, потупясь, подходит к директору МТС Денису Макарову. Беленький узелок в руке явно тяготит ее.

— Вы будете начальник МТС?

— Я буду начальник МТС, — весело отвечает Денис Иванович. — А вы кто будете?

— Я Мария Сайнюк. А в Гринявке все зовут меня просто Мариечкой.

— А мне тоже можно звать вас Мариечкой? Я не из Гринявки!

— Зовите, товарищ начальник МТС... Это я вам принесла, — и она смущенно подала узелок.

— Это что? — удивился Макаров.

— Орешки, и вы не можете не взять их!

— Почему?

— Потому, что они с моего девичьего ореха. Сколько ему лет, столько и мне. Сам Михайло Гнатович, секретарь райкома, когда заезжал к нам, хвалил эти орехи.

— Ну, раз Михайло Гнатович хвалил, ничего не поделаешь. А у меня Михайло

¹⁷ Кулеша — мамалыга.

Гнатович хвалил персики. Дать тебе, Мариечка?

— Ой, не надо!

— А что же тебе дать?

— Что? — смущенно переспросила Мариечка. — Если бы вы могли...

— Не стесняйся, Мариечка.

— Если б вы могли дать... трактор.

— Трактор?! — Денис Иванович оторопел.

— Не навсегда, только на денек. Надо в Гринявке вспахать один клочок колхозного поля.

— Мариечка, и не совестно тебе обманывать старших? У вас еще нет колхоза.

— Я никогда не обманываю, — девушка вспыхнула. — Я, товарищ начальник МТС, комсомолка. Пусть и нет еще у нас в Гринявке колхоза, так зато есть новая спокон веку непаханая земля для колхоза. У озера, возле Черемоша.

— Помню, помню такое место, — Денис Иванович заинтересовался.

— Вот видите. Этот клин, наверно, я с девчатами буду обрабатывать. Так имею я право позаботиться о нем, не дожидаясь весны? Если вспахать нашу землю трактором, больше на ней уродится или меньше?

— Больше. И что ты думаешь сеять?

— Кукурузу.

— Книжки у тебя есть?

— Только газеты. И еще лекция Марка Озерного.

— Возьмешь у меня кое-какие книжки.

— Очень благодарю. Я бы добилась, чтоб хоть за наши деньги вспахали нам землю под кукурузу, да где взять предплужники? Так что подумайте, товарищ начальник: разве можно приниматься за новую работу не по-новому, без МТС?

Последние слова так поразили директора МТС, таи понравились ему, что даже засмеялся человек.

— Раз так — по рукам! Ты мне — орехи, я тебе — трактор!

Мариечка укоризненно, лукаво и весело покачала головой.

* * *

Солнце озаряет лучами ближние горы, а дальние покрываются сизыми сумерками; и вдруг гора глухо застонала: то, разрывая золотую солнечную пряжу, падает стройная пихта, за ней вторая, третья. Вот на самой макушке горы появился Василь. Он размахнулся топором раз, другой, и пихта затрепетала от корней до вершины. В руках Ивана Микитея изогнулась пила, другой конец ее подхватил Василь, и стальные зубы зашипели, разбрызгивая струйки опилок. Дерево со стоном валится на землю, в последний раз стряхивая со своих ветвей опустевшее гнездо, и топор в руках Василя снова пускается в свой смертельный танец. По соседней горе вихрем носятся возчики, теснясь на узких бороздках свежих просек: идет трелевка очищенных бревен к ризе — гигантскому желобу, по которому их спустят с горы. И вот уже тяжелое бревно подхватывают дружные руки ризовщиков.

— Клейгов!¹⁸ — крик переплескивается через ущелье.

— Кинатов!¹⁹ — глухо отзываются снизу чокеровщики.

Дерево, как вытряхнутый из тучи гром, глухо грохочет, устремляясь вниз по массивному желобу, и со звоном вылетает из него к зеленому подножию горы.

Там чокеровщики приподымают бревно острогами, перехватывают его чокером —

¹⁸ Клейгов — крик, предупреждающий, что бревно пущено по ризе.

¹⁹ Кинатов — ответ приемщика о готовности принять бревно.

зажимом, и вот уже трос лебедки, поскрипывая, осторожно несет тяжелую пихту к эстакаде, откуда по узкоколейке отходит нагруженный эшелон с надписью:

«ДАДИМ БОЛЬШЕ ЛЕСА ДЛЯ ШАХТ ДОНБАССА!»

И снова топоры Ивана и Василя описывают дуги, глубоко впиваясь в пахучие стволы.

— Эге! Отстали сегодня, ребята! Отстали! — говорит, подымаясь к ним, маленький, приземистый приемщик Володимир Рыбачок. В руках у него тетрадь и карандаш.

— И очень отстали, товарищ Рыбачок? — озабоченно спрашивает Василь.

— Ну, положим, не очень, однако скорей всего на красной доске я, извините, верных товарищей не увижу. Извините, но не увижу. Разминулись вы сегодня с лучшими передовиками леса, чего не желаю вам, извините, на завтра.

— А все потому, что у тебя, верный товарищ, только и речей, что про свою Настунечку, — уколол Василь Ивана.

— Настунечка, душенька, и чего этот Василь хочет от тебя! — завопил Иван. — А хочет мой верный товарищ, чтобы и я с тобой не видался, как он с Мариечкой.

— Цыц, ты, верный товарищ! А сколько ж вы нам записываете?

— Только сто сорок три процента.

— Мало, Настунечка, душенька! — грозно обращается к Ивану Василь.

— Мало, Мариечка, сердце мое, — со вздохом соглашается Иван и боязливо пятится от верного товарища.

— Вот я тебе передразню... Тьфу! — Василь рванулся к Ивану, и тот сразу же улепетнул от него за деревья.

— Вот из кого выйдет комсомолец! Огонь парень и в работе и во всем. Хоть сейчас рекомендацию дам! — в порыве великодушия воскликнул Володимир.

— Подожду еще, — отрезал Василь, все еще продолжая сердиться на Ивана.

— Почему?

— Почему? — Василь не знает, что ответить, и хватается за первое попавшееся: — Потому, что грамоты у меня только на подпись хватает.

— Дело, извини, парень, не в грамоте, а в сути! — лицо Володимира сразу становится строгим.

— Ага! — Василь только теперь понял, в чем дело, и взгляд его стал тверже, словно он заглянул туда, куда не заглядывал посреди обычных будничных забот.

— Эй, молодцы, скорее вниз! — доносится издали голос Ивана, и парни, петляя среди растущих и срубленных пихт, спускаются к мосту, за которым начинается узенькое, стиснутое горами зеленое ущелье.

Возле эстакады попухивает пузатый паровозик. Вот он прогудел раз и другой, созывая с лесосек лесорубов и ризовщиков, электромехаников и крановщиков, чокеровщиков и лебедочников. Хозяева леса — парни и девушки, пожилые мужчины и седые старики, отдавшие лесам всю свою жизнь, вырубавшие и насаждавшие их, — все размещаются в небольших вагончиках.

— Едешь, Василь? — с сожалением спрашивает Иван Микитей.

— Еду, браток. Не могу иначе. А что, если Мариечка и в самом деле завтра отправится на восток?

— Может быть. Теперь мир для всех открыт. Что твоим дома сказать?

— Что? — парень улыбнулся. — Не закроется сегодня собрание без меня.

— Собрание мелкого звена?

— Какого еще звена?

— Ну, ты и Мариечка... А что, разве будет кто-нибудь еще? — удивляется Иван.

— Прикуси язык, а то сотрешь еще до свадьбы.

— Вот когда полегчает моей Настечке!

— А что ты думаешь, и полегчает! Еще скажи матери — вернусь утром и схожу на

полонину.

— Не нравится мне дорога туда.

— Дорога как дорога.

— На ней двуногие волки не переводятся. Пойдешь — и меня кликни.

— Кликну. Прощай.

— Спокойной ночи, браток!

— погоди, Василь! — к друзьям подбежал секретарь комсомольской организации лесопункта Марко Лычук. — Новость!

— Хорошая?

— Хорошая! К нам уже едут из Ленинграда трелевочные тракторы.

— А электропилы? — одновременно спросили Василь и Иван.

— Едут. Из Ижевска.

— К-5?

— К-5! Впервые в наших горах, где только топор мозолил руки гуцула, разгуляется электропила.

— Философия! — качает головой Василь.

— Это что значит? — опешил Марко.

— Славно, чудесно — вот что это значит!

— А нам, товарищ секретарь, доверят электропилу? — замирая, спрашивает Иван Микитей.

— Доверят. Василь будет мотористом, а ты, Иван, — его помощником. Беритесь, гуцулы, за новую технику!

— Философия! — Иван утвердительно кивает головой.

Поезд тронулся. Василь на ходу вспрыгнул на платформу с лесом.

В соседнем вагончике девушки запели песню, и она поплыла над пихтовыми склонами гор, тихая и ладная, как и эта вечерняя пора, пора надежд и любви.

* * *

Иван, напевая песню, подходит к хате, ставит у дверей топор и отправляется на леваду.

— Ты что это свою хату обходишь? — спрашивает с порога мать.

— Дело у меня.

— И серьезное?

— Эге!

Мать улыбнулась, а Иван подался через леваду к своей Настечке. Вот и душистый скирд — место встреч с любимой. Но Настечка еще не пришла. Парень нетерпеливо повертелся вокруг скирда и медленно побрел ко двору Стецюков. Там он украдкой перелез через тын и припал к окну в боковой стене хаты.

Посреди комнаты стоит, одеваясь, его Настечка. Но почему она такая сердитая? Кто ее обидел? Руки у парня сами сжимаются в кулаки, и он чуть не выдавливает лбом стекло.

На лавке сидит темный, как ночь, Дмитро Стецюк, за ним встревоженная Ганна, а возле кровати переминается с ноги на ногу подросток Максим с книжкой в руках.

— Ты слышала, девка, что я тебе велел? — говорит Дмитро, глядя исподлобья на дочку.

— Слышала! — коротко отрезала та.

— И собираешься?

— Сами видите.

— Может, ты не на собрание?

— Нет, на собрание.

— И как тебя, такую упрямую, господь бог терпит? Не пойдешь ни на собрание, ни в колхоз! — Дмитро решительно поднялся из-за стола.

— Вот еще! Пойду и на собрание и в колхоз!

— Не пойдешь, девка, ей-богу, укорочу тебе язык и норов! Будешь делать не по-своему, а по-моему! — Отец стукнул кулаком по столу. — Уважь себя и меня!

— Это вы не уважаете ни себя, ни меня, а один только язык да желчь проклятого Бундзяка.

— Боже мой, ну что ты мелешь! — Дмитро боязливо оглянулся на окно, потом резко схватил Настю за плечо, повернул ее лицом к красному углу. — Видишь, видишь святой образ? Вот, гляди, крещусь на него — не пойдешь в колхоз! — Дмитро с поклоном яростно перекрестился, глянул на дочку — и не узнал ее.

— Видите образ? Святой он или нет, не знаю. Вот, крещусь на него, что пойду в колхоз! — Настечка горделиво выпрямилась, открыто посмотрела на отца и вышла.

— Я тоже пойду с Настечкой! — натянутым, как струна, голосом крикнул Максим и, схватив обеими руками крысаню, бросился вдогонку за сестрой.

— Боже мой милосердный! — Стецюк обессиленно опустил на лавку и до боли сжал виски высохшими руками. — Как мне прожить на свете? Что делать с такими детьми?

— Дмитро, а может, послушаться их? Это ж твои дети, твоя кровь. На что же нам слушать Бундзяка, Космыну, а не своих детей? — тихо уговаривает мужа Ганна.

— Да ведь дети словами говорят, а Бундзяк и Космына — топором и смертью.

— А может, Дмитро, недолго уж им говорить? У нас их слова болячками в печенках сидят. А что сидит у людей в печенках, тому недолгий век. Ты послушай Настечку...

— Да как же теперь, Ганна, послушать, если я на святой образ перекрестился?

— Так, может, мы его, чтоб не гневался, завесим?

— Завесим?

Дмитро, немея от страха, встретился глазами с черным взором святого.

Жена едва заметно улыбнулась, поняв, что гнев мужа остыл. Она, не одеваясь, вышла во двор, позвать своих таких непослушных и таких дорогих детей. Может быть, они еще не убежали на собрание.

На свежей осенней леваде тихо, только порою сорвется ветер, разнося запах горного сена. Возле стога кто-то всхлипнул. Кто же еще, кроме Настечки! Вот уж характер! То упрется, как камень, так что сладу с ней нет, то расплачется тайком, чтобы и мать не видала.

И Ганна, исполненная жалости и материнской гордости, спешит к стогу. И вдруг слышит, что ее Настечку успокаивает ласковый голос парня. Кому же еще там быть, кроме веселого и статного Ивана Микитея?

У стога заплаканная Настечка ластится к Ивану.

— Иванко, теперь меня в комсомол не примут?

— Почему же не примут?

— Да ведь я крестилась на образ!

— Это не ты крестилась, а справедливая ненависть твоя.

— Так примут?

— Ясно!.. А я тебя еще больше люблю.

— За что?

— За гордый характер! — Иван поцеловал ее. — С таким характером можно большим начальником стать.

* * *

Над подгорным селом Гринявкой в хаосе облаков раскачивается месяц, то выхватывая из тьмы, то снова погружая во мрак очертания гор и серебристую кипень реки.

Перейдя вброд Черемош, Василь дошел лугами до околицы села, осторожно обошел вокруг хатки, на маленьких оконцах которой дремал иней лунного света, и снова вышел на улицу. Прямо на него налетела голосистая стайка детворы, и Василь перехватил одного мальчугана.

— Ой, пустите! — закричал тот, стараясь вырваться.

— Федь, Мариечка дома? — спросил его Василь на ухо.

— Дома, на собрание спешит, а дед все задерживает ее разговорами про жизнь. Пустите!

— Куда же ты?

— Куда? — удивляется Федько. — На собрание! Будут выбирать, кому ехать в большие колхозы.

— Тебя же не будут выбирать.

— Так хоть послушаю! — Федор рванулся, выскользнул из объятий парня и с лихим гиканьем пустился догонять малышкой.

Василь, оглядевшись, запел под окном коломыйку и отошел в тень под явор. Но на улицу никто не вышел. Тогда он снова приблизился к хате, свистнул и с равнодушным видом медленно зашагал вдоль улицы. Потом снова вернулся, распевая громче, и наконец, махнув рукой, решительно вошел во двор. Постучал в наружную дверь и замер. В хате сразу же затопали.

— Мариечка! — понимающе усмехнулся парень и плотно прижался к стене.

Скрипнула дверь. Василь подался вперед и схватил любимую в объятия. Но тут его ошеломил крик:

— Караул! Грабители!

В объятиях Василя барахтался старый Савва — дед Мариечки.

— Дед Савва, это я. Не подымайте тревогу. Это я, Василь. Неужто не признали?

— Тьфу! В самом деле — ты?.. Что же это тебе вздумалось обнимать старика?

— Люблю вас очень, дед Савва! — не растерялся Василь.

— И-и? Так уж и любишь?

— Крепко люблю!

— Меня?

— Вас!

— Правда, меня? Тогда пойдем в хату, о жизни поговорим.

— Пойдемте, — неохотно согласился Василь, и лицо у него сразу стало кислое.

В хате дед Савва засветил плошку, сел на лавку и печально покачал седой головой.

— И что это делается на свете, Василь? Такое горе, такая пора настала, что просто — эх!

— А что?

— Еще спрашиваешь! Снова уплывает земля из мужичьих рук, как вода в Черемоше. Так сердце кровью обливается, что и света божьего не вижу, а руки отказываются работать. Не натешился я еще этой землей, не нарадовался на нее.

— Так тешьтесь, радуйтесь, кто ж вам не велит?

— Тьфу на тебя! Ты что, сегодня на свет родился?! Как же тешиться да радоваться, если колхоз заберет всю землю и даже под лук да огурцы клочка не оставит!

— Это уж, дедушка, кулацкое тьяканье. Приусадебная земля останется у каждого хозяина.

— Останется? И то слава богу, если твоя правда. Да ведь сколько ее останется у человека, этой приусадебной земли? — И старик забеспокоился, видя, что парень собрался уходить. — Ты уж посиди, Василь, раз любишь деда. Потолкуем о жизни. Был я бедняк бедняком, беду свою тасил с женой и детьми, как вол яро, а на наше трудовое помещику достатки прибывали, как вода в паводок. Рубаха у меня, в поту стиранная, не просыхала на плечах, где бы я ни жарился — на кирпичном ли заводе или на чужом поле. А на детей все приходилось ворчать: «Разрази вас гром, чтоб есть не просили!» Им ведь все равно. Заработал ты крейцер или нет, а рот хоть корочкой да заткни. А раз как-то под пасху, в давние времена, сели мы, горемыки, твой отец, я и отец Миколы Сенчука, и сочинили горестное да учтивое письмо к императору в Вену. Поздравили его и семью с праздником, да и просим совета: «Цесарь наш пресветлый, земля у нас барская, леса графские, дороги твои,

а небо божье. А нам, бедным мужикам, как же без клочка земли на свете прожить?»

— А он вам что же?

— Поздравил нас после пасхи. Жандарм так выписывал эти клочки земли у нас на спинах, что кровь текла, как вода из родника.

Старик от этих воспоминаний еще больше загрустил, и печаль его тенью легла на лицо Василя.

— Так-то, Василь, испокон веков никто еще не пособил маленькому человеку. Бедный не может помочь бедному, а богач только себе сала напасал. За эту землю гнили мужицкие кости и в тюрьмах, и в Березе Картузской, и в могилах. Только поп обещал праведным на том свете надел. А как тут станешь праведником, когда нужда одолела, когда тебе и свечки за крейцер не прилепить перед образом, когда ты и в самой церкви засыпаешь, нажарившись за неделю у кирпичных печей или намахавшись цепом до того, что у тебя и в голове цеп вертится?.. Эх, не многим беднякам достанется пахать у господ бога святую землю... Одна только большевистская власть дала надел неимущему человеку: «Бери себе, Савва, три морга²⁰, — сказали мне, — сей зерно, а собирай счастье».

— Философия! — лицо у Василя просветлело.

— И собирал я славный урожай. Тешился этими тремя моргами, как тремя внуками. На лошаденку скопил, конюшенку выстроил, а теперь снова уходит от меня земля, как жизнь.

— Напрасно вы, дедушка, убиваетесь. Совсем напрасно. Вот поверьте — найдете счастье, с людьми... Ну, я, пожалуй, пойду, — говорит Василь, сгорая от нетерпения поскорее выскользнуть из хаты.

— Постой, Василько, куда тебе спешить?

— На собрание.

— Тебя же не будут выбирать в дальнее странствие... Ты посуди: как же не убиваться? С душой расстаться, поверь, дитяtko, и то не так тяжело, как с землей.

— Ей-богу, пустое это, дедушка!

— А чем ты меня утетишь?

Василь сразу стал серьезным, выпрямился и рубанул рукой, как топором.

— Утешу словом партии. Она учит, что только в колхозе мужик хозяин, а не осенний гриб, который на день вырос, да за день и завял. Партию слушать надо.

— Мало я, что ли, слушал партий! Их у нас было как на грош маку, пальцев не хватало сосчитать. И ни одна не являлась без посулов. Все, все до одной говорили красно, а жилось по-черному.

— Да разве это партии? — возмутился Василь. — Это ж были грязные лавчонки — души наши в Америку продавать. Вы партию большевиков слушайте.

— Ох, слушал бы я ее, Василь, слушал бы день и ночь, только бы остались при мне мои морги!

— Э, опять вы за свое! Не для того же власть дала землю, чтоб только подразнить ею мужиков. Значит, думает она, как сделать, чтоб людям стало лучше.

— Может, оно и так. Не знаю... Так ты уже уходишь?

— Иду, иду, будьте здоровы.

— На собрание?.. Ну, так и я с тобой.

— А вы зачем, дедушка? — неохотно откликнулся парень.

— Послушаю, Василь, послушаю!

И старик начинает поспешно одеваться.

Василь с дедом спешат по пустым улицам к сельскому исполкому. Вдруг Василь остановился: чуткое ухо лесовика уловило обрывки тихого разговора. Тронув старика за плечо, Василь крадется под тыном поближе к голосам.

— Василько, слышь, не ходи дальше, — предостерегающе шелестит голос деда.

²⁰ Морг — мера площади, около половины гектара.

Возле хаты шевелится темная фигура, бросая в отпертые сени:

— Помни, добрый человек: запишешься в колхоз — большевики отберут у тебя землю, а мы — душу. Полетит она без исповеди в ад, и только раз в год, в сочельник, будет навещать землю. Ха-ха-ха!

— Слушай-ка, Василь... Да это же Штефан Космына, сын нашего попа, тот самый, что в высокой школе на пана учился... Ишь, как божественно говорит!

— Вот я ему поговорю сейчас!

— Василько, он же не с пустыми руками! Василько! Василь! — старик хотел схватить парня за пояс, но слабеющие руки поймали только воздух.

Парень, едва коснувшись рукой плетня, молниеносно перескочил во двор. В тот же миг Космына метнулся на улицу. Прозвучал выстрел, другой. В темноте послышалась возня, топот, зацокали копыта, и конь ошалело понес всадника к Черемошу. Сердитый Василь, тяжело дыша, вернулся к деду.

— Удрал попович!

— Ах-ти!.. Пустая твоя голова! Хоть бы топором запасся, а то с голыми руками на пули полетел. Вот так бы и завял навеки... Слышал, что говорил попович?

— Скоро отговорит свое.

— Эх, напугал ты меня... Чуть сердце не выскочило из груди... Вот дознается Мариечка...

* * *

— Люди, кто за Мариечку Сайнюк?! — кричит из президиума Микола Сенчук.

Рядом с ним сидят секретарь райкома Михайло Гнатович Чернега, Григорий Нестеренко, несколько гуцулов и гуцулок.

В зале над разноцветными нарядами собравшихся подымается лес рук.

— Поедет, поедет Мариечка!

Девушки смеются, приветствуя свою подругу, а ее лицо так и пылает счастливым румянцем.

— А ведь поедет девчонка! — с беспокойством говорит долговязый, средних лет гуцул, Лесь Побережник. — Жена, я попрошу слова, а? — наклоняется он к своей дебелий Олене.

— Проси, муженек, — велит она.

— Товарищ председатель, прошу слова! — как школьник, поднимает руку Побережник.

— Говорите, Лесь.

— Товарищ председатель, все видели, как я пристойно сидел на собрании.

— Все люди видели! — подтверждает Олена, расталкивая локтями соседей на лавке.

— Даже жена моя уверяет, что так. А она мужа только по праздникам хвалит.

— А чтоб тебе, какие слова про жену говорит! — Олена встревожилась, и на груди ее забренчали, заплясали дукаты. — Выходит, ежели муж в будний день не заслужил доброго слова, так уже и не самокритикуй его!

— Тетка Олена, надо говорить не «самокритиковать», а «критиковать», — поправляет Катерина Рымарь, становясь рядом с Мариечкой.

— Ты чего учишь меня, дерзкая девчонка, точно я сама не знаю! Я хорошо знаю! Когда все критикуют — это критика, а когда, к примеру, своего мужа я сама критикую — это уже самокритика. Верно?

— Верно, верно, Олена! — шутя подтвердила Ксения Дзвиняч.

Собрание ответило хохотом, засверкали пестрые и разнообразные гуцульские наряды.

Лесь, стоя в напряженной позе, терпеливо переждал хохот и деловито продолжал:

— Пристойно и учтиво сидел я на собрании, а больше не могу так сидеть. Чтобы эту девчонку Мариечку, которую я сам за косы из Черемоша вытащил, когда тонула, чтоб ее послали в колхозы, а меня, хозяина, — нет? Не вижу я в этом правды. И что она,

несмышлениш, понимает? Венок сплести да на голову надеть? Что она в людях увидит и что расскажет людям? Я скажу так: пусть посылают и меня. Пошлете, товарищ председатель?

— Голяк, что ты мелешь? Скорой смерти захотел? — зашипел на него Пилип Наремба.

— Я, может, вашей скорей дождусь, — тихо и с достоинством ответил Лесь и снова обратился к Сенчуку: — Правда, пошлете?

— Разве я могу это сделать? — заколебался Сенчук, и в углах зала сразу поднялась возня, галдеж.

— Они берут только из обольшевиченных да комсомольцев, чтобы говорили, что велют, а правду под ноги затаптывали! — выкрикнул Штефан Верыга.

— Люди, что вы молчите, как камни? — выделился голос Гната Палайды.

— Что — Лесь хуже девчонки? — осмелев, бросила Палайдиха.

— Такого правдивого человека поискать надо! Он все разглядит и людям расскажет! — закричал Пилип Наремба, немало удивив этим учтвого Лесья. — Видишь, Лесь, за тебя заступаюсь.

— Заступайтесь, Пилип, за свой процент, а мою душу не троньте. Ей-богу, не прошу, — все с той же учтивостью отвечал Побережник и снова обратился к Сенчуку: — Я тебя, Микола, выбирал председателем, а тебе трудно поднять за меня руку?

Микола Сенчук бросил смущенный, вопросительный взгляд на Чернегу. Тот поднялся из-за стола, и зал притих.

— Товарищи, если человек чего-нибудь захочет, очень захочет, он добьется своего. Лесь Побережник очень хочет увидеть колхозную жизнь, хоть он и не попал в список. Поможем ему?

— Поможем! — первой закричала жена, и смех смешался с одобрительными рукоплесканиями.

— Так я голосую, товарищи! Кто за? — голос Миколы Сенчука сразу окреп. — Единогласно, и еще на голос больше: Олена голосует обеими руками.

— Если одна не помогает, так пусть поможет другая! — с опозданием опуская руки, говорит Олена и, уже обращаясь к мужу, добавляет: — Ой, головушка моя несчастливая, как же ты без меня поедешь? Хоть не отбивайся от людей, а то я женщина слабая, мне недолго и век укоротить.

— Так уж и не переживешь? — Лесь недоверчиво окинул взглядом свою здоровенную подругу жизни, которая, верно, не согнувшись, и хату подперла бы плечом.

— Лесь, замолви за меня словечко Миколу, а то и товарищу секретарю, — вдруг решительно заявила Олена. — Пусть и меня посылают. Куда иголка, туда и нитка.

— Олена, не порть мне праздник! — вежливо ответил Лесь, безуспешно пытаясь втиснуться рядом с женой на лавку.

— Ишь, поумнел сразу! — вспыхнула Олена.

— Поумнел, куда там! — съехидничал Пилип Наремба. — А ты поучи его, Олена, своей самокритикой.

— Лишь бы не вашей. Вы не вмешивайтесь в семейную жизнь, покуда хозяйка есть, — гордо отрезала Олена и так повернулась на лавке, что все ее соседи покачнулись...

— Дальше идет Роман Петрашук, лесник наш! — объявил Сенчук.

— Роман, хочешь ехать? — обернулась к парню непоседа Катерина Рымарь.

— А то нет! Да это же... — Роман не найдя слов, приложил руку к груди.

— Прошу слова, товарищ председатель, — поднялся в раздумье пасечник Юра Заринчук.

— Говорите Юрий Васильевич.

— Моя бы воля, не послал бы я Романа. Хоть он и подвижной парень, а в поездку не годится.

— Почему ж это не гожусь? — забеспокоился лесник.

— А потому, что Роман любит мед, а пчел не уважает. Характер у него, что ли, не колхозный? Поесть любит, а работать не очень...

— Юрий Васильевич, за что ж вы так вцепились в меня?
— Это ты мне в самое сердце вцепился глупостями своими. Зачем разрешил вырубать в лесу липу? Липа — это мед! Первый общественный гуцульский мед! Я думал поставить колхозные ульи в лесу, а теперь охотно поставил бы тебе на голову, будь там хоть малость цвету. Нет возможности, товарищи, посылать пустоцвет!
— Роман, — Катерина грустно покачала головой, — по некоторым уважительным причинам откладывается твое путешествие.
— Да я не очень и хотел ехать! — как туча, нахмурился лесник.
— Кто за Юстина Рымаря?
— Юстин, не молчи. У тебя лошадка есть! — шипит жена, толкая в бок старого гуцула в потрепанном, облезшем киптаре.
— Не могу я ехать, — Рымарь неловко горбится и выговаривает слова с трудом, будто камни из земли выворачивает.
— Почему же, Юстин Иванович? — удивляется Сенчук.
— У тебя лошадка есть, — шипит Василина, так и подпрыгивая на лавке от волнения.
— У меня, Микола, лошадка есть... Василина, сиди ты тихо, а то все собрание заговоришь... И такая умница попалась, только что не разговаривает. И жеребая, Микола, моя лошадка...
— Постыдились бы такими речами собрание задерживать! — возмутился Заринчук.
— Какой же тут стыд? Что я, украл ее, лошадку-то? Да ты знаешь ли, что это первая моя лошадка, что я за всю мою жизнь крестьянскую первый приплод ожидаю? Я над нею дрожу, как над...
— Своей женой, — подсказывает Василина.
Рымарь с сомнением поглядел на Василину и добавил:
— Как над своей женой, будь характер у нее помягче.
— Тебе и такого мало! Ну, что ты скажешь про муженька, который так жену честит? — и Василина демонстративно отвернулась от Юстина.
— Кто за Ксеню Дзвиняч? — заглянув в список, объявил Сенчук.
— У нее ребенок. На кого ребенка оставить?
— Как ты скажешь, Ксения?
Женщина, покраснев, встала.
— Если товарищ секретарь партии разрешит, я с ребенком поеду. Пускай и девчонка моя увидит, каков свет за горами.
Сенчук перехватил взгляд Чернеги, улыбнулся.
— Как же, только мешки запасай и на себя и на ребенка, — едко ввернул Палайда.
— Скажите вашей Параске, чтоб вам на всю жизнь запасла! — разгневанная Ксения обернулась к кулаку, и тот сжался, а глаза на его перекошенном от злости лице воровато сощурились.
— Ксения, любушка, да ведь я пошутил... Я и сам рад, что ты едешь.
— Радуетесь — прямо зубами от радости скрипите!
— Кто за Ксеню Дзвиняч, чтоб с ребенком ехала?..
— И я хочу с Мариечкой! — подал голос Федько.
— А кто будет в школу ходить? — прикрикнул кто-то на мальчика, и он юркнул в толпу ребятишек.

* * *

Собрание расходится с говором и пением, и в самых отдаленных улочках села просыпается эхо. Василь пытается пробраться в толпе против течения к Мариечке, но на плечо ему ложится рука Нестеренка.

— И ты, Василь, пришел на собрание? Интересуешься?
— Интересуюсь.

— Это хорошо, что не замкнулся в своем лесу. Ты никого не ждешь?

— Нет, — смутился парень.

— Так выйдем на улицу, поговорим.

— Выйдем, — парень со вздохом направился за Григорием.

В зале остались Микола Сенчук, Мариечка, Лесь Побережник, Ксения Дзвиняч и другие избранники народа. Они окружили Михайла Гнатовича, ловили каждое его слово.

— Люди признали вас лучшими, передовиками.

— Так, так, — соглашается Лесь, вызывая улыбки остальных.

— Это не только честь, но и обязанность, поважнее, чем у многих других.

— Поистине обязанность! — с чувством проговорил Микола Сенчук.

— Будете в колхозах — присматривайтесь к жизни, не как гости, а как хозяйева. И все лучшее привозите сюда.

— Отчего же не привезти, только бы дали! — у Леся Побережника заблестели глаза.

— Вы, Лесь, не так поняли товарища секретаря, — деликатно поправила его Ксения Дзвиняч. — Товарищ секретарь учит привозить не те сокровища, что в недрах земли зарыты, а те, что всю землю радуют, как детские глазенки. Может, я неверно сказала? — и она доверчиво взглянула на Михайла Гнатовича.

— Говорите, Ксения Петровна.

— Я своим женским умом так прикидываю: посылают нас к людям, чтоб мы, измученные, учились жить, а не погибать на земле, чтобы мы привезли своей Гуцульщине ее потерянную долю.

Микола Сенчук смотрит на Ксению Петровну, словно впервые увидел ее.

— Вот, никогда не думал, Ксения, что ты такая! — удивленно заявляет Лесь и оглядывается вокруг, не поймет ли кто-нибудь иначе его степенную речь.

Михайло Гнатович, на ходу застегивая пальто, выходит из исполкома. Там к нему подбегает, обогнав стеснившихся у выхода людей, Лесь Побережник.

— Михайло Гнатович, а вы с нами поедете?

— Нет, Лесь Иванович, не могу.

— Нет? — опечаливается Лесь. — А может, как-нибудь через «не могу»? Чего бы мы только не привезли тогда в Гринявку!

— Только бы дали! — лукаво щурится Михайло Гнатович, и на лицах гуцулов расцветают улыбки.

— Дадут! — уверенно заявляет Лесь.

— Тогда берите, Лесь, и руками и всем сердцем. Давайте подумаем с вами: что нам прежде всего нужно в Гринявке?

— Нужду прогнать навеки. Чтобы никогда не навевался к человеку черный день. Чтобы гуцул хлеб ел.

— Значит, надо привезти в Гринявку высокий урожай, трудодень богатый, передовую науку.

— Эти думы, Михайло Гнатович, точно из снов слетелись к гуцулу. Не жирно ли будет?

— Для того, кто вперед не глядит, жирно. Ключи от счастья в наших руках. И мы не имеем права ждать, пока оно само к нам придет. Не имеем права покачивать головами, читая о том, как живут лучшие колхозы: вот, мол, богатство, у людей, когда же оно к нам заглянет? Захотим — заглянет через год, с новым урожаем. Только во всем надо равняться на передовых, на героев, и самим становиться героями. Верю, что вижу перед собою новую гуцульскую славу.

Гуцулы застыли в строгом молчании.

Машина, пофыркивая, покатила по дороге. И вдруг в темноте заклокотал противный, едкий смешок. К собравшимся боком придвинулся Пилип Наремба.

— Лесь, у меня к тебе вопрос: чем же твоя жена станет, если даже ты в герои выскочил? Хе-хе-хе!

Этот смешок ужалил Побережника в самое сердце. Лесь беспомощно оглянулся в поисках защиты. И его защитили. На здорового Нарембу с разгона налетел почерневший от гнева Микола Сенчук.

— Простите, люди, что немного отстану от вас, да еще в такой вечер, — бросил он односельчанам, оглянувшись назад, и наотмашь ударил кулака по широкой щеке.

— За что? — взревел Наремба, закрывая лицо обеими руками.

— Чтоб не топтал сапогами наши высокие надежды, падаль!

* * *

Погост. В изгорбленную землю черными птицами вцепились кресты. На могиле, возле часовенки, как могильщики, сидят, насупясь, Палайда, Верыга и Наремба. Они вздрагивают от каждого шороха, кажущегося или настоящего.

— Ничего не видно, — оглядываясь вокруг, процедил Наремба.

— Наше время прошло, — проворчал Палайда, посмотрев на небо.

— Прошло... Глянь, Гнат, словно бы кресты шевелятся! — вдруг прохрипел Наремба и вцепился в плечо Палайды.

— Опомнись, это страх твой шевелится. Мертвых не бойся, живых бойся, а то... Свят-свят-свят, и правда шевелятся! — Палайда вскочил, и неподалеку замерли четыре креста.

— Проклятое место. Пойдем отсюда.

— А что скажет Бундзяк?

— Пускай найдет место получше, не среди мертвецов.

Кулаки, обваливая тяжелыми сапогами могилы, пригнувшись, побрели в конец кладбища. Предостерегающий свист остановил их. Они оглянулись и вновь увидели, как зашевелились и пошли на них четыре креста.

— Тьфу, придумает же Бундзяк! — наконец проговорил Наремба, с облегчением вздыхая.

— От таких выдумок недолго и на тот свет отправиться.

К кулакам подошли вооруженные бандиты. У одного из них, Василя Вацебы, измученный вид. Он бос и дрожит от холода.

— Кто?! — не здороваясь, резко, как когда-то на допросах, спросил Касьян Бундзяк, вооруженный топором и автоматом.

— Микола Сенчук, Лесь Побережник, Мариечка Сайнюк, Ксения Дзвиняч... — вытянувшись, отвечал Верыга.

— Ксения Дзвиняч с дочкой попросилась. Активистка! Ха-ха-ха! — Наремба расхохотался, но почему-то сразу же затих, прижав руку к щеке.

Неподалеку послышалась песня. Бандиты замахали руками, как воронье, и застыли неуклюжими крестами. Песня звучит, как приговор, приковывая бандитов к трухлявым крестам.

* * *

По тропинке через огороды неторопливо шагают домой Юстин Рымарь и Василина.

— Хорошо, что ты отказался ехать, Юстин, — бубнит идущая позади жена, и голова ее, плотно повязанная платками, трясется в такт словам.

— Не знаю уж, хорошо или плохо.

— Как не знаешь?

— Люди свет увидят...

— А ты жеребенка увидишь. Первого своего жеребенка. А потом, в случае чего, не будут тебя мучить за поездку...

— Как это «в случае чего»?

— Экой ты недогадливый! — Василина забежала вперед и загородила всю узенькую тропинку. — Ну, а в случае... война будет... Возьмет тебя американский Трумэн да спросит...

— Ты прежде спроси, захочу ли я с ним разговаривать...

— Лучше, конечно, с ним не говорить, только если Трумэн захочет...

— До коих пор ты будешь носиться с этим Трумэном, как с писаной торбой?

— Да ведь люди говорят, что Трумэн...

— Псы, а не люди. И не трумкой мне над самым ухом, а то оно, того и гляди, разболится, как от простуды, от твоих «тру» да «ме»... Вон гляди, больница-то — растет! — Юстин указал на леса стройки.

— Не радуйся, не радуйся, не построят.

— Почему не построят?

— Ну, кто когда строил для гуцула больницу?

— Так, по-твоему, и школу не построят?

— А ты думаешь, построят?.. Это все... агитация.

— А не отсохнет у твоих агитаторов язык, когда тут вырастет двухэтажная школа и двухэтажная больница?

— Увидим, у кого отсохнет... Еще двухэтажную захотел!..

— Да ты тише кричи, вон люди шумят.

— И они о том же шумят, о чем и ты. Теперь другого разговора не бывает...

По улице как раз идут Лесь и Олена.

— Хотел я садануть ему кулаком промеж глаз, — хвалится Лесь, — да Микола опередил меня.

— Ой, Лесь, и ты огрел бы самого Нарембу? — со страхом и удивлением спрашивает Олена.

— А что он мне теперь?! — еще больше осмелев, восклицает Лесь. — На него люди плюют, а меня выбирают делегатом... Я, Олена, мягок, да силен. Каюк был бы сегодня Нарембе.

— Лесь, да ведь за это бог бы тебе грех записал.

— Если богу больше уже нечего делать, пускай себе записывает грехи.

— Лесь! Опомнись! Что ты говоришь?! — Олена в ужасе заломила руки.

— Лесь Иванович, погодите! — донесся из темноты чей-то звонкий голос.

Побережники прижались к плетню, ощущая, как сквозь его щели, словно вода сквозь ячейки невода, просачивается холодный воздух. В тишине громко отдаются шаги, и соседняя улица отзывается на них сонным эхо.

— Лесь Иванович, я к вам зоотехника веду ночевать, а то к Сенчуку далеко идти, а человек устал с дороги, — запыхавшись, с трудом выговаривает исполнитель. — Знакомьтесь, товарищ Галиубей.

— Галиубей, — поправляет зоотехник. — Андрий Прокопович.

— Простите, не Галиубей, а Галибей, — парнишка смешливо морщится и незаметно подмигивает Побережнику: вот, мол, фамилия у человека, запутаешься, как в тыквенной ботве.

— Да у нас, Андрий Прокопович, и переночевать негде. Всего одна кровать, да и из нее труха сыплется, — пожаловалась Олена.

— А печь у вас есть? — ласково спросил Галибей.

— Да неужто такой ученый гость будет спать на печи? — удивляется женщина.

— Еще как! Может, и просо на печи сушится? Нет на свете лучшей постели, чем печь с распаренным просом, — смеется зоотехник.

— Да уж мы кинем туда горсточку, — повеселев говорит Лесь, — может, товарищ зоотехник поклюет его, как курица.

— Лесь! — Олена предостерегающе дергает мужа за рукав.

Но зоотехник ни чуточки не сердится на эти озорные слова, и Лесь еще больше

смелеет.

— Не тащи меня за рукав, жена. Разве тебя не радует, что нашей печи выпала такая честь?

* * *

— Учиться буду, Григорий Иванович, и в лесничестве и дома. А книжку прочитаю вслух!

— Именно вслух. Такую книгу грех про себя читать. Будешь в селе — непременно заглядывай ко мне, — Нестеренко прощается с Букачуком. — Ты мне песни будешь петь, а я понемногу введу тебя в курс агрономической науки. Добро?

— Философия! — с готовностью соглашается Василь и спешит по безлюдным улочкам на край села.

Вот и двор Мариечки, сплетение теней и обманчивый ночной свет словно укачивают его. Месяц, проскользнув мимо расколотого облака, поплыл по чистому небу, и на горизонте выросли контуры гор. Наступив на кружевную тень калитки, парень принялся нащупывать рукой щеколду.

— Василь, это ты?

— Я, дедушка. С собрания возвращаюсь. — Рука сползла со щеколды, и Василь стал так, словно и не думал заходить во двор Сайнюков.

— А Мариечка уже вернулась. Отдыхает, ей ведь завтра в дальний путь.

— Отдыхает? — с сожалением переспросил парень.

— Спит. С собрания прибежала веселая. Принесла какие-то книжки. И ты, вижу, с книгой... Вот поди ты, как жизнь складывается, — девчонка, а едет посмотреть отчизну, какой и мы-то не видали никогда. Заходи, Василь, поговорим про жизнь.

— А может, почитаем вслух? — Василь с надеждой бросил взгляд на окно. — Вон как посветлело. А книжка эта еще светлей. Про революцию.

— И при лунном свете разглядишь?

— Могу.

— А я теперь даже не все звезды вижу.

— Скоро не только эти все, а еще и новые увидите! — Василь раскрыл книгу.

* * *

У перелазы Микола Сенчук прощается с Ксеньей Дзвиняч.

— Спокойной ночи, Ксения. — Он протянул руку, но сразу же отдернул ее: вспомнил, что бил ею Нарембу.

— Спокойной ночи, Микола.

— Как ты сегодня славно говорила про долю Гуцульщины, точно песню пела. А я запел, да не ту, — и он нахмурился, снова невольно глянув на руку.

— Не горюй, Микола.

— Только бы не записали на бюро строгий выговор.

— Не запишут, Микола. Иначе нельзя было. Люди в мечтах, словно в росах, стояли, а он швырнул песком в глаза. Поругают немного за горячий характер.

— Да пусть хоть и много ругают, лишь бы то взвесили, что Микола Сенчук член партии молодой, а ненависть к кулакам у него старая и крепкая. Так как думаешь, Ксения, не будет строгого выговора?

— Не будет, Микола...

— На-ка вот, отдай дочке конфетку, — и Сенчук неловко, левой рукой, подал незатейливый гостинец.

— Будь здоров, Микола.

Легко поклонившись, Ксения подошла к своей хате и стала отпирать старенькую дверь.

В хате что-то зашуршало, и сердце у женщины забилося сильнее.

— Мамочка, вы пришли? — раздеваясь уже на ночь Калина босиком подбежала к матери, прижалась к ее ногам.

— Пришла, доченька. Ты почему не спишь?

— Боязно было. Бандитов боялась, — девочка обвела окна взглядом широко открытых глаз.

— Голубонька моя сизая! — Ксения погладила дочку по головке и вздохнула. — Вот тебе гостинец от дяди Миколы.

— Спасибо. Попролам? — девочка протянула конфетку матери.

— Ешь, моя маленькая.

— Попролам! — настаивала Калина.

— Тогда положи мою долю на окно.

— Мама, а кто из наших поедет в колхозы?

— Дядя Микола, Мариечка Сайнюк, Лесь Побережник и мы с тобою.

— Вы смеетесь?..

— Нет, вместе поедем, — без тебя у меня сердце надорвалось бы.

— Да... А пустят меня? — в голосе и взгляде девочки перемешались радость и страх.

— Пустят, Калина. Сам секретарь районной партии разрешил.

— И на машине поеду?

— И на машине поедешь.

— И далеко?

— Далеко!

— Мамочка, давайте плясать! — И Калина, схватив своими проворными ручонками тяжелые, натруженные руки матери, закружилась по комнате.

Женщина нехотя двинулась за нею, но, посмотрев на раздумявшееся личико ребенка, невольно расправила плечи, откинулась назад, входя в ритм легкой гуцульской пляски. С ее плеч слетел платок. А может, это слетели с нее прожитые годы? И вот уже не Ксения Петровна, а цветущая девушка закружилась в юношеской пляске.

Вдруг настойчивый стук в дверь оборвал танец и рассеял чары.

— Мамочка! Бандиты! — Калина задрожала.

— Гей, делегатка, отворяй! — По окну забарабанили пальцы, и на стекле уродливо расплющился чей-то нос.

Ксения отяжелевшей походкой пошла отворять дверь.

Трое бандеровцев ввалились в хату и зорко обшарили глазами все углы. По полу зашлепали мокрые сапоги, оставляя пятна грязи.

— Чужих никого нету? — грозно спрашивает узколиций Касьян Бундзяк, в упор наставив на хозяйку запотевший автомат.

— Нету, пане податковый экзекутор.

— Не забыла еще, как меня величать? — недобрый рот Бундзяка искривило подобие улыбки.

— Век не забуду, пане податковый экзекутор.

— Что же ты, злых не забываешь, которые задолжала Речи Посполитой? — подозрительно спросил Бундзяк, почувствовав в тоне женщины непочтительность.

— Я мужа своего вспоминаю, — ровным голосом ответила Ксения.

— Не выбросила еще его из головы? А он что-то не спешит к тебе из Америки.

— Верно, и до сей поры не заработал себе потом и кровью злых на горемычный клочок земли.

— Так ты же теперь и без злых получила мои морги. Разрубили мою земельку на куски! Слыхал, сама засекала надел?

— У меня на то руки, чтоб сеять...

— Собери нам поест. И завесь окна.

— Я завешу, пане Касьян.

Пузатый, как бочонок, Качмала стаскивает с сундука одеяло, наматывает его на руки и каким-то чудом одновременно засовывает под полушубок платок хозяйки. Шныряя по хате, он проворно завешивает окна, а тем временем туловище его распухает, перекашивается на сторону, и от этого кажется, что он стал ниже ростом.

— Выходит, делегаткой захотела стать? — пронизывающий взгляд Бундзяка впивается клешами в лицо молодой женщины.

— Люди выбрали меня, — отвечает Ксения, стоя у печи.

— А дочку тоже люди выбирали?! — Бундзяк вдруг приходит в ярость. — Тебя люди выбирали? — кричит он, дергая за руку Калину.

Девочка посмотрела на него, как взрослая, и неожиданно для всех ответила:

— А кто же? Люди! Сам секретарь районной партии голосовал за нас с мамой.

— Заткнись, большевистское семя! — Бундзяк с размаху вцепился растопыренной пятерней в косы девочки и дернул их. — От земли не видать, а туда же, большевичится!

— Не троньте ребенка, пане податковий экзекутор! — Ксения, страшная в гневе, бросилась к нему. — Она вам злотых не задолжала!

— Врешь, быдло! Вы с чьей земли хлеб едите? Вы мне платили за землю? Ты еще, подлянка, кровавой юшкой обольешь мои искромсанные поля, а иные удобряют их и телами своими. О моих моргах известно и в Америке. погоди, я вас буду за них и судить и казнить!.. Слушай, делегатка, не хочу я ради святого воскресенья марать руки об тебя и о твоего выродка. Ты по глупости поверила, что большевики и впрямь могут переиначить всю жизнь, наделить всех счастьем. Ни бог-отец, ни бог-сын, ни бог-дух святой, ни все правители не смогли сделать этого за тысячи лет. А вам морочат мозги: в колхозе переменится и земля и вся жизнь. Одному председателю там будет хорошо, а всем остальным беда. Приглядиись к этому получше! И запомни: пока люди плодятся, будут воли и погонщики, а равенство наступит только перед господом богом, в высоких небесных садах, где мы с тобой заживем, как Адам и Ева, — и он, криво усмехнувшись, потянулся рукой к подбородку Ксени. — Напугал? Ха-ха-ха!

— Ха-ха-ха! — обдергивая рубаху, плотоядно подхватил Качмала. — Неси-ка, баба, еду на стол. А ты, — обратился он к третьему бандиту, — смени Вацебу, а то зачоченеет там босиком.

Бандит, поморщившись, неохотно вышел. Вскоре, едва сдерживая дрожь, вошел Вацеба.

— Озяб? — неприязненно встретил его Бундзяк. — Жаль, что утопил в Черемоше башмаки, а не голову.

— И правда, жаль, — Вацеба безнадежно махнул рукой.

— Как разговариваешь! Раскис, как хвост у головастика. Пора человеком стать.

— Пора, пора, только бы можно было, — покачал головой Вацеба.

— Ты это о чем заговорил? — насторожился Бундзяк. — Вот как дам тебе...

— Ничего вы мне не дадите: вы привыкли не давать, а забирать, — равнодушно пробормотал Вацеба.

Бундзяк рванулся к нему с кулаками, но на полдороге остановился, прошипел:

— Придешь в убежище — я тебе так дам, что на весь твой куцый век хватит!

Вацеба поморщился, потом неловко подошел к Калине. Девочка испуганно попятилась от него, забила в уголок.

— И у меня где-то есть девчонка, как белая гусочка, и мальчишек двое, — проговорил он про себя и снова глянул на Калину.

— А у меня для тебя во какой мальчуган припасен! — крикнул Качмала, тыча под нос Вацебе кулак, и расхохотался.

— Ксения, — строго заговорил Бундзяк, — мы сейчас не положим твою голову на порог, не будем убивать делегатов. Отправляйтесь поглядеть на большевистские колхозы, а когда приедете и захочется вам еще пожить, скажете людям так, чтобы им никогда не пришло в голову скопом работать... Ну, лей, что варила.

Ксения подала большую миску с едой, и лица бандитов заволокло паром.

* * *

Беспомощно дрожит слабый огонек плошки, и жалостно дрожат слезы на ресницах Олены.

— Лесь, отдай уж им сапоги, может скорей уедут, — плачет она, нагнувшись к мужу.

И вот Вацеба поспешно, словно боясь, что у него отберут, обувается, под скорбным взглядом разутого Лесья, в новые сапоги.

— Ввалишь на плечи здоровенный мешок с харчами — вот и не помрешь там с голоду, — поучает Бундзяк Лесья и Олену.

— Да я скорей всего не поеду, не в чем. — хитрит Лесь в надежде, что, может быть, вернут ему сапоги.

— В постолах поезжай!

— А может, я сменяю у вас... постолы на сапоги? — учтиво обращается Лесь к Вацебе.

— Будет уж! — оборвал Бундзяк. — Все равно там с тебя сапоги снимут, с кожей сдерут. Там все в лаптях ходят, так что не намозолишь глаз колхозникам.

— Так, так, — не зная, что сказать, бормочет Лесь.

И вдруг Бундзяка окликнул с печи ласковый голос Галибея:

— Пане старшой, не вернуть ли вам в самом деле сапоги Лесью Ивановичу?

— Кто там еще каркает?! — хватаясь за оружие, вскричал бандеровец.

Галибей, стряхивая с одежды просо, слез с печи и смущенно улыбаясь, стал босыми ногами на лежанку. На миг взгляды бандеровца и зоотехника скрестились. Узкие брови Бундзяка взлетели вверх, потом опустились, нахмурились.

— А зачем же это — возвращать сапоги? — спросил он уже спокойнее.

— Вы, пане старшой, гуцул, и Лесь — гуцул, — охотно и смело пояснил Галибей. — Так зачем же вам выставять на люди свою бедность? Там надо себя с самой лучшей стороны показать, чтобы знали национальную прелесть наших уборов и любовались ею, как в театре. Пускай туда люди едут в самых лучших сорочках, киптариках, сапогах!

— Сымай делегатские сапоги! — вдруг приказал Бундзяк Вацебе, и тот с таким рвением принялся стряхивать их, словно они жгли ему ноги. — Найдем другие, не делегатские. Благодарю, Лесь, своего защитника.

Лесь взглянул на Галибея со страхом и благодарностью, хотел подойти к нему, но голос Бундзяка приковал его к месту:

— Ты, Лесь, любишь хозяйствовать, и ум у тебя в голове свой. Не сменяй его и там на чужой. Станут тебя посылать в один колхоз, а ты просись в другой, а то там один колхоз устроили специально для экскурсий, чтоб морочить таких, как ты.

— Ну? — Лесь удивляется и настораживается.

— Сам увидишь. Или, например, станут тебе рассказывать о больших трудоднях, покажут в мешках сахар. А это большевики только сверху для фантазии в мешок сладкого насыпают, а внизу одна горькая соль либо опилки. Так у них все замаскировано.

— Так ведь мешок можно замаскировать, а как замаскировать ниву, урожаем высокий?

— Глуп ты, Лесь, как колода. Откуда у них высокому урожаю взяться, если трактор отравляет землю керосином и чадом и она с каждым днем все больше тощает!

— Ой! — ужасается Лесь. — Так на что ж выдумывать такую машину? Лучше уж бычков погонять. Олена, хоть и туго у нас с деньгами, ты, однако, не вздумай без меня бычка продавать. Бычок не машина.

— Бычок не машина! — хохочет Бундзяк. — Помнишь, Лесь, какие у меня были волю? Рукой до рогов не достать!

— Вы и не доставали, а мне приходилось, и не раз, — вздыхает Лесь, вспомнив свои развешанные в батрачестве годы...

Бандеровцы как-то внезапно выскользнули из хаты, оставив грязные пятна на полу,

табачный чад под низким потолком и чад в голове.

— Чтоб вам еще до утра со смертью встретиться! — процедил Лесь, прикивая к окну.

— Не сердитесь, Лесь Иванович, — успокоительным жестом обнимает его Галибей. — Не стоит сердиться, что бы ни случилось в жизни. Помните слова нашего кобзаря:

И не будет злomu
На всей земле бесконечной
Веселого дому.

— Не буду, Андрий Прокопович, — вздыхая, отвечает Лесь и оборачивается к зоотехнику. — Уж так я вам благодарен, так благодарен, что и сказать нельзя. И как вы не побоялись заговорить с самим Бундзяком? Это ж бешеная собака.

— Не сердитесь, Лесь Иванович.

— Я не сержусь, нутро переворачивается. Жена, стели Андрию Прокоповичу на кровати, а мы и на печи поспим.

— Я тотчас, — Олена, словно спросонья, метнулась к кровати.

— Вот это уж лишнее, — Галибей машет рукой.

— Не скажите, не скажите, Андрий Прокопович. Вы же ради меня душу под пулю подставили. Теперь этим сапогам и цены нет... Может, выпьем по чарке? Дружбу скрепить.

— Выпить можно.

— Только у меня палёнка²¹.

— Я ко всякой привык, лишь бы бензином не отдавало, — темный клинышек лица зоотехника морщится от смеха, и Лесь радуется, что у него такой не гордый гость...

Заходила по столу чарка, беседа оживилась, на лицах выступил пот.

— За ваше здоровье, Андрий Прокопович! — Лесь подымает чарку и вдруг понижает голос: — Вы человек ученый, а дома все свои, так скажите, прошу вас: каково нам будет в дальней дороге?

— Сами увидите, — уклончиво отвечает Галибей.

— Кое-что увидим, а иного и не заметим, — ну, а вы скажите, как живут в колхозах?

— Как вам сказать, Лесь Иванович... Живут не так, как Бундзяк говорил.

— Вот это хорошо! — обрадовался Лесь.

— В одних местах получше, в других — похуже. Сами приглядывайтесь ко всему, однако помните, что говорит народная мудрость: везде хорошо, а дома лучше. Да и Шевченко не для кого-нибудь, а для нас писал: «В своей хате — своя правда, и сила, и воля...»

— Э, не так вы Шевченка толкуете! — вдруг отрезал Лесь. — Это даже я знаю, нам как раз об этом Михайло Гнатович говорил. Не переиначивайте святых слов...

На рассвете Олена снаряжала мужа в дорогу. Она долго, то и дело вздыхая, возилась с мешком, растерянно выбегала из хаты в чулан, и Лесь не без удивления заметил, что сухие глаза его боевой Олены оказались на мокром месте. Вот и разберись в женщине: то она, напададая на него, чуть зубы языком не выкрошила, а теперь трогает сердце мужа слезами.

— Ты, Олена, хоть бы присела.

— Ой, Лесь, и как ты без меня в дороге будешь?

— Трудно будет, Оленка, да уж как-нибудь вытерплю. Ты ведь знаешь, я все могу вытерпеть.

К сельсовету, где уже стояла полная людей новенькая машина, Побережники пришли с опозданием.

Лесь Побережник последним неуклюже забирается в кузов. Большой мешок за плечами, как живой, оттягивает человека вниз, и он, кряхтя, еле-еле перелезает через борт

²¹ Палёнка — гуцульская самогонка.

машины. Женщины и на улице и в кузове посмеиваются. Это сразу выводит из себя Олену, и она решительно подталкивает мужа снизу, в то время как сверху его подхватывает Микола Сенчук. У Леся из мешка бесстыдно высовывается заткнутая кукурузным початком бутылка с самогоном. Но вот Лесь наконец очутился в машине и, отирая руками пот, улыбается оттуда то жене, то цветнику девчат, собравшихся в кузове; последнее немало тревожит его верную подругу.

— Лесь, вы свой склад дома оставьте, — советует Сенчук.

— Запас не вредит, — уверенно отвечает гуцул.

— Известно, не вредит. Не сохнуть же человеку в дороге, — заступается Олена за мужа.

— Дедуся, не скучайте, — Мариечка нагибается из кузова к деду Савве.

— Мариечка, купишь мне самых лучших красок, столичных, — повторяет свою просьбу Федько.

— А нам — книжек по агрономии. Не забудь! — наказывает Катерина.

— Ксения, любушка, что это вы сегодня грустная?

— Так... ничего, — молодая женщина прижимает к себе девочку.

— Лесь, веди себя пристойно! — многозначительно говорит Олена. — И не заглядывайся, куда не надо, а то я женщина слабая, мне недолго и век укоротить.

— О, дядько Лесь может укоротить! — хохочут в толпе. — Недаром он хвалился, что мягок, да силен. Ударь он Нарембу, был бы тому каюк.

— Неизвестно, кому был бы каюк! — огрызнулся Наремба. — Я таких по двое на одно плечо кладу.

— А вы поглядели бы: не отсохло оно у вас? — деликатно откликнулся Лесь под хохот собравшихся.

— Лесь, — тихонько подзывает мужа рукой Олена, — купишь мне... И не забудь еще купить...

— Олена, — Лесь посмотрел на жену с укором и грустью, — пожалуй, для твоих покупок не хватит ни моей памяти, ни всего нашего хозяйства, даже с бычком? Ты, однако, не горюй, запиши все свои нехватки в книгу. Как станем хорошо жить, в будни будем эту книгу читать, а в праздники бегать по магазинам.

— Ой, Лесь, ты всегда так скажешь, что не знаешь, засмеяться или заплакать. — Олена добрыми глазами смотрит на своего бесценного, немного смешного Леся. — Ой, машина трогается!

— Олена, так ты не продавай бычка. Бычок не машина, — нагибается из кузова Лесь. — Олена... — Он хочет что-то добавить, но слова его заглушает задорная коломыйка:

Льется, льется коломыйка
Легко да привольно,
А от этой коломыйки
Головушку больно.

«И в самом деле больно!» — думает о своем Олена, махая рукой мужу.

* * *

После Карпат, где теснятся шапки гор и небо кажется ближе к земле, поражает и размах покрытой снегом равнины, и голубая высь, и величественно поднятые в зенит паруса облаков. По их теням мчатся легковые машины с делегацией гуцулов.

— Едем — точно по воздуху летим, — с удовлетворением замечает Лесь водителю Сергею Назарову. Славная машина!

— Хороша! — русский шофер проговорил это слово так, будто речь шла о девушке.

— Не то что трактор!

— А чем вам трактор не нравится? — Назаров насторожился.
— Лесь! — Ксения Дзвиняч предостерегающе дернула Побережника за рукав сардака.
Лесь посмотрел на рукав, точно его оторвали, потом на Ксению и поучительно сказал Назарову:

— Непутевая машина трактор.

— Трактор — непутевая машина? — шофер был возмущен до глубины души. Он уже готов был сказать какую-нибудь резкость, колкость, как вдруг его осенила догадка. Подозрительно глянув на Лесью, он вдруг спросил: — Вы гуцул, или... корреспондент какой-нибудь буржуазной газеты?

— Неужто я на такого похож? — удивился Лесь. — Гуцул я! — проговорил он с гордостью.

— Тогда... тогда... — от гнева Назаров не находит слов. — Вы понимаете, что мелете про трактор?

— А что? Всякие бывают машины, — со знанием дела объясняет Лесь. — Вот «Победа» — машина! Всем взяла — легкостью, ходом, красотой. Сам Илья-пророк еще не катался в тучах на такой колеснице. А от трактора и земле трудно, и сердцу нудно.

— Дядько Лесь, чего вы на трактор наговариваете? — пытается остановить Побережника Мариечка.

— Трактор отравляет землю керосином и чадом, и она с каждым днем все больше тощает.

— Слезайте с машины! — шофер яростно нажимает на тормоз.

Лесь растерянно стоит на дороге. Перед ним, подпрыгивая и размахивая руками, кипятится маленький Назаров:

— Видишь землю? Вся — до самого неба и еще дальше — обработана тракторами.

— Машина большая, обработать можно, только что уродится на ней? — Лесь тоже начинает сердиться.

— По сто сорок восемь пудов пшеницы на круг собрал наш колхоз. Мало?

— По сто сорок восемь? — Лесь изумляется, не верит.

Шофер бесцеремонно хватает его за рукав, и оба, перебравшись через кювет, неуклюже выкарабкиваются на поле. Назаров, разгребая ногами, а потом и руками снег, сердито сыплет скороговоркой:

— Таких корреспондентов в худшем случае надо летом возить, а в лучшем — совсем не надо возить. Что ему зима покажет? Однако, если ты хлебороб, разберешься, что тут делается!

Лесь приседает на корточки и тоже начинает с сердцем разгребать снег. Первые же беспомощные, промерзшие стебельки, волнующим узором украсившие землю, изменяют настроение Лесьи и Сергея.

— Пшеница! — зачарованно проговорил Лесь, не замечая, что за его спиной стоят гуцулы и тоже смотрят на узор озими, от которого и зима становится весною. — Такой и у графа не было. Красавица!

— Хороша! — проговорил Сергей, уже по-другому взглянув на Лесью.

Их пальцы, перебирающие всходы, на миг сомкнулись, соединились в крепком рукопожатье.

* * *

— Тетка Олена, вам телеграмма!

— Телеграмма? — побелела женщина. — Ой, с Лесем что-то стряслось.

— Что вы, тетенька! Это раньше в телеграммах только про горе писали, — успокаивает Олену молоденькая девушка-почтальон, и, отвернувшись, прыскает.

— Ты чего, сорока, смеешься над моей первой телеграммой? — хмурится Олена.

— Уж больно она смешная, — девушка откровенно хохочет.

— Смешная? Стало быть, Лесю там хорошо... — Олена беспомощно вертит депешу в руках. — Что ж там написано?

«Любушка Олена, мне тут хорошо, — читает девушка. — Бычка можешь продать. Машина не бычок». Вот объяснил! Ха-ха-ха!

— Не смыслишь в жизни, так не смейся! — отрезала Олена. — Желаю тебе самой получать такие веселые телеграммы.

* * *

Припорошенные снегом горы купаются в зеленовато-розовых красках угасающего дня, а снизу, расплетаясь, наползают на них туманы. Долины темнеют, становятся глубже; они позванивают невидимыми ручейками, как будто отпирают серебряными ключами покой вечера на Черногоре.

Время уже лесорубам спускаться с гор, а они все медлят. Василь Букачук с электропилой в руках стоит в гордой позе перед несколькими пильщиками.

— Новшество у нас простое, — объясняет он. — Мы с Иваном не стали резать лес вдоль подошвы горы, а поднимаемся сразу вверх. Надпилим несколько стволов — и вверх, вверх. Тогда верхние пихты падают на нижние и своей тяжестью пригибают их к земле.

— На все горы новость! Вырос в лесу, на сплаве, а не додумался до таких вещей! — покачивает головой пожилой лесоруб.

— Покажи, Василь, свой метод, — просит другой.

— А не поздно? — парень посмотрел на горы, которые уже гасило прозрачное, как вешняя вода, небо.

— И в самом деле поздно, — вздохнул Иван Микитей, думая о своей Настечке.

— Постыдился бы болтать такое среди бела дня! — напал на Микитея пожилой лесоруб. — Великий грех даже лишнюю минуту держать про себя такую новость.

— Уже и грех записали, — покачал головой Иван. — Что ж, Василь, начнем? Только какой грех мне моя Настечка запишет?

— Помолчи уж! Ни днем, ни ночью не перестаешь хвалиться своей Настечкой!

Василь включил ток и прижал электропилу к дереву у самых корней. Лесорубы, следя за работой Василя, отходят в сторону. Затем пильщики поднимаются выше. Вот пихта, как живая, соскакивает с пня, наклоняется, пригибает нижнюю, та — третью, и над молниеносно прорезанной дорожкой вишневым цветом подымается легкая пороша.

— По-стахановски! — кричит старый лесоруб, подбегая к Василю. — Послезавтра и наша гора так загудит. За вами, верно, и ризовать не успевают?

— Не успевают.

Снизу к Василю и Ивану спешит Володимир Рыбачок.

— Василь, Иван, вот вам по газете — там о вас пишут — и телеграмма!

— Мне? — встрепенулся Иван.

— Василю. Из России!

— От кого же это может быть?

— От Мариечки! — с эффектом проговорил Рыбачок, следя, какое впечатление произвели его слова.

Василь нетерпеливо выхватывает телеграмму. За его плечами поудобнее устраивается Иван.

«Дорогой Василько, шлю тебе радостный привет с русской земли. Течка...» Это что еще за течка?

— Течка? А ты и не знаешь? — удивляется Иван. — Это значит — ты чекай. Жди.

— А ты откуда знаешь?

— Мало ли я телеграмм получал?

— От кого?

— От кого? От Настечки моей.

— Что-то я не припоминаю, чтобы она куда-нибудь уезжала из отцовского дома.
— Ну, что ты понимаешь! Будто нельзя и без этого послать телеграмму! Мне Настечка раз даже «молнию» вдарила!
— Это что ж такое?
— Тоже телеграмма, только втрое дороже. Чаше всего про любовь.
— Ты гляди! Что же, и мне посылать «молнию»?
— А что же? Можно, — великодушно разрешает Иван. — При таких заработках можно и гром и молнию послать.
«Тут нас приняли по-братски, — читает Василь. — Нам очень хорошо, на каждом шагу учимся, как надо жить. Течека».
— Еще раз напоминает: жди, мол, пока выучится, — охотно разъясняет Иван.
— И буду ждать, пускай хоть и все земледельческие науки пройдет, — мне есть кого дожидаться. Ты еще не знаешь, что у меня за Мариечка!
— Помолчи уж. Ни днем, ни ночью не перестаешь хвалиться своей Мариечкой, а про Настечку только слово скажи — сейчас же и рот закрывает.
— Тебе не закрыть, законопатить надо! Утром пойдем на пастбище?
— Пойдем, браток!
— Иван, а славная у меня Мариечка? — Василь порывисто сжал друга в крепких объятьях, заглянул в его лукавые, смеющиеся глаза.
— Славная, славная... Правда, не такая, как моя Настечка, но... Ой! Бешеный! — и он, едва удерживаясь на ногах, понесся вниз, сперва в самом деле боясь упасть, а затем уже нарочно, со смехом, махая руками и отбивая постоломи фигуры гуцульских плясок.

* * *

Над самой полониной плывет утомленное, изорванное в клочья небо, и когда из-за Черногоры внезапно выглянет солнце, в первый миг трудно бывает разобрать, что колышется над лугом — обрывки облаков или их тени. Полонина встречает гостей извечным пением ручейков, а парни в ответ запевают привольную песню, которая могла родиться только в этом поднебесном просторе:

Гей, на высокой полонине
Ветер повеваает.
Сидит чабан молоденький,
Славно распевает.

На песню парней откликнулась мелодия флюяры — гуцульской флейты. Из рубленой зимарки — пастушьего куреня — вышел старый Марьян Букачук, приложил руку к глазам.
— Здорово, дети! — приветствует он Василя и Ивана. — Рад за вас, рад. Есть у вас головы на плечах.
— А вы откуда знаете? — удивляется Иван.
— Что у вас головы на плечах? Да оно и так видно. А слава теперь и до полонины докатывается. — Букачук отворил дверь в зимарку, и парни увидели в помещении детекторный приемник. — Агроном Нестеренко принес. Агроном на пастбище — большой человек. И слова у него чистые, как вода питьевая... Так что уж не знаю, где вас и посадить, детки, — может, вы теперь на эти топчаны и сесть не захотите — про вас ведь уже и в газетах пишут, и по радио передают.
— Сядем или нет? — серьезно спрашивает у Василя Иван.
— Конечно, нет! — и они одновременно опускаются на незатейливые скамейки.
— Стахановцы! Какое слово красивое да гордое! — Марьян с любовью поглядел на парней, потом вздохнул и задумчиво заговорил: — Жизнь идет, как река течет. За все мое батрачество никто мне доброго слова не сказал. Быдло и быдло. Как стал на слабые еще

ножонки, так и пошел кривить их на графских полонинах. До зимы со скотинкой все в горах да на пастбищах, а в сильную стужу — желоба, коровьи ясли служили мне постелью. Вытру с них густую воловьью слюну и ложусь, как в гроб. Волы жуют надо мною свою жвачку, согревают своим дыханием, жалеют безысходного батрака больше, чем вся графская экономия. А вы, детки, только взялись за работу — уже об вас все торы шумят, вся отчизна согревает вас.

— Философия! — с чувством проговорил Василь.

— Философия! — подтвердил Иван.

— Что, детки, в селе слышать? Не пишут люди, которые в колхозы поехали?

— Пишут. Телеграммы шлют. Повсюду их в русской стороне гостеприимно встречают.

— Известно, русские. У них ко всем людям сердце доброе, только на вырождков гневаются. Как бы отправить уже наших врагов туда, где им черт «здравствуйте» скажет!

— Приходили в зимарку?

— А то нет! Вбегает этот Бундзяк и давай шарить по всем углам. Вытащил из-под стрехи два круга сыра, а потом наложил на полонину дань, чтобы отдавать ему десятую долю сыра, масла и приплода. «Так ведь теперь, — говорю я ему, — пане податковый экзекутор, полонина народная, не ваша?» Как он завертится, словно пес, которому лапу отрубили. «Была и всегда будет моя. Захотел, чтоб я твою голову на пороге топором отсек, быдло?!» — да как даст мне обухом под ребра.

— Еще воздастся ему! — насупившись, обронил Василь. — Отец, может, кому из вас, из пастухов, случится напасть на их след...

— Думал я уже, сыночек, об этом. Думал, — ответил Марьян, оглядываясь назад. — Должны они сюда заглянуть, должны. Ведь они до сей поры не раскусили, что мы уже люди, а не быдло. Придет Бундзяк за добычей. Это уж характер такой, детки, — все тащить. Пусть хоть лишнее, хоть камнем висит на шее а он тащит.

— Придет час, и мы потащим его! — У Василя сжимаются кулаки и брови сходятся над переносьем.

* * *

Киев встретил гуцула приветливо, и теперь его богато украшенный киптарик все быстрее, как в пляске кружился в круговороте будней и праздников. Впрочем, здесь и будни походили на праздники. Палийчук с жадностью ловил яркий блеск огней, и свет глаз новых друзей, и сияние науки, удивляясь тому, как она сроднила седых академиков и мужественных, точно отлитых из бронзы, бригадиров, и молоденьких, курчавых, как пшеничный колос, девушек.

Он, бережно собирая их слова в сердце, впитывал их, как томимая жаждой нива впитывает щебет дождей. Казалось, он был не в театре, куда съезжались передовики Украины с плодами своего труда, а среди золотой пены нив, плещущих от самых черноморских степей до его Покутья. Не яркий киптарик, а думы Ильи Палийчука расцветали, когда он, не боясь, мысленно переносил охапками к себе на поля все хорошее и колосистое. Воссоединенная Украина дарила ему цвет своих нив и жизни. Не ленись, Илько, слушать, думать, изучать, трудиться!

И он не ленился.

Размашистый, доверчивый, ясноглазый, он подходил к большим ученым, и те говорили с ним, как с ровней. Он протискивался в горделивый круг героев и оказывался в центре внимания, все предлагали ему свою помощь. Часами простаивал он возле снопов, семян и молодых саженцев, простаивал над певучими сокровищами урожая, свезенного с полей в оперный театр, чтобы люди знали, откуда берет начало песня и слава.

А по ночам он просиживал над книгами, выписывая в одну тетрадь все понятное, а в другую — все непонятное. Когда сосед по койке начинал ворчать, Палийчук ставил настольную лампу на пол, а сам ложился на пестрый коврик, как на зеленеющую траву

левады.

— Илько, уж не в академию ли готовишься? — смеялись иные знакомые.

— Про академию — ерунда, — отвечал он серьезно. — К прыжку готовлюсь.

— К какому прыжку?

— К самому настоящему. Без него не обойдешься. Хочу, чтоб наш колхоз как можно скорей засиял, как радуга, всеми цветами, достиг богатой, зажиточной жизни. Думаю, только пустые сердца не заботятся об этом! — на его больших синеватых белках дрожали неровные тени ресниц. — Все ли сделаю — не знаю, а кое-что сделаю! Я еще только выхожу в люди...

И теперь даже оттенок хвастовства в его словах не вызывал ни у кого насмешки, ибо все, все, что бы ни делал, что бы ни говорил Палийчук, шло от того молодого сердечного порыва, от той душевной щедрости, какую не мог бы обуздать и строгий разум.

Перед самым отъездом Илья, вернувшись из демидовского колхоза, получил письмо от Ганны, и сразу же его обступили синие Карпаты, окружило родное Покутье.

Он любил письма жены, в них до него доходила только нежность Ганны, а весь едкий перец оставался на потом.

«Ну и хитрая же у меня жена!» — не раз подумал он и покачал головой, перечитывая новое письмо; под словом «хитрая» он подразумевал «умная».

«Дорогой Илько, радость моя!

Ты и представить не можешь, как я соскучилась по тебе, по твоему голосу и смеху — он звенит мне и через горы. Проснусь ночью, прислушаюсь, и кажется — вот-вот зазвучат твои шаги, застучишь в окно. И сынок тебя вспоминает каждый день. Вчера мы ходили с ним из Черемош. Как хорошо, пробираясь сквозь кустарник, видеть, что рядом в зелени мелькает беленькая головка, до того похожая на тебя, что так и хочется окликнуть: «Илько»... В колхозе ждут тебя с нетерпением. Желаю тебе счастья, солнце мое!

Твоя Ганна»

«И радость, и солнце! Не так уж плохо для одного письма», — улыбнулся Илья и пошел докупать подарки своему дорогому корреспонденту, сынишке и ребенку Миколы Сенчука.

* * *

На редкость тихий вечер спустился в горы, и хлопья первого снега блестят на них, как гуцульская инкрустация. Неподалеку в каком-то потоке расплетает свои косы вода, по камешкам спуская с Черногоры начало зимы.

Еще прыжок и совсем рядом окажется Черемош и хата Миколы Сенчука. Как-то встретит его Марко, как обрадуется столичным гостинцам? Вот уже затоковал, зашумел в ушах Черемош, и дорога, темнея среди пихт, устремилась к нему, словно воды потока. Из-под обрыва тянуло сырым холодом — там дышала река, перекатывая невидимые камни. Где-то вдаль блеснул одинокой звездочкой огонек. Кому он согревает жизнь?

А я с горы в долинушку
Сойду потихоньку...

Илья, напевая, сворачивает поближе к обрыву.

И вдруг темнота под пихтами оцетинилась. На дорогу выскочило несколько вооруженных людей.

— Стой!

— Палийчук попался! Его-то нам и надо!

Это голос Бундзяка.

Внезапным рывком Илья бросился на бандитов, проложил себе дорогу и прыгнул в прибрежный перелесок. И тут его нагнала пуля. Небо в глазах его колыхнулось и стало опускаться, осыпая на горы свой цвет. Звезды закружились над рекой и замелькали перед его

глазами, словно он сеял их, как семена.

Он, пошатнувшись, упал на опутанную корнями землю. Кто-то, сопя, навалился на него.

— Вот он где, председатель. Мозг всего колхоза.

— А мы его размозжим! — засмеялся Бундзяк, стоя над дерущимися.

Палийчук, собирая остатки сил, как клещами, стиснул врага холодеющими руками. Тот забарахтался, оторвался от корней, но не смог оторваться от своего противника.

Они завертелись в смертельном круговороте, и Бундзяк с остальными бандитами, растерявшись, не решались ударить одного, чтобы не убить другого. Выхватив топоры, они ожидали удобной минуты, но случай не подвертывался. И тогда удары посыпались на обоих.

Звезды и кровь падали уже на камни обрыва и в реку... Как он боится ее, шкура проклятая! Хочет отодвинуться от берега. Еще одно усилие... Палийчук отрывает бандита от земли и вместе с ним летит в окровавленный Черемош.

Это был последний прыжок гуцула.

И снова в горах над Черемошем, как отблеск звезд, замерцали огоньки. Это на затихшие выстрелы шли горцы. На их суровых лицах, озаренных мерцающим светом, лежала печать скорбного раздумья...

Палийчука нашли утром. Черемош осторожно вынес его на берег, размышляя, что же делать дальше: нести ли человека в тихий Дунай или только начисто смыть с него кровь?..

Когда Василь Букачук увидел на берегу, как вода вымывает из золотистых волос Палийчука песок и кровь, он опустил на колени и заплакал.

— Браток, не плачь, — просил его Иван Микитей, не замечая, что слезы стекают и с его щек.

— Не буду, браток, — тихо пообещал Василь. — Так-то, Иван, думали слать Мариечке радостную телеграмму, а придется посылать всей делегации печальную весть. Заплачет, заголосит Сенчук по своему другу.

И Василь, поднявшись, сперва пошел, а потом побежал в лес.

Не скоро им удалось отыскать на лесосеке секретаря комсомольской организации Марка Лычука.

— Товарищ Марко Лычук, у меня к вам просьба.

— Говори, Василь...

— Рекомендуйте меня.

— Как рекомендовать?

— Чтобы меня приняли в комсомол. Хочу работать как можно лучше, и рубить, и сплавливать, и растить лес. Хочу, чтобы не было в наших горах нечисти.

— Что же, дам рекомендацию.

— И мне дадите? — спросил Иван Микитей, подходя поближе.

— И тебе дам. Еще есть какая-нибудь просьба, Василь?

— Есть. Можно мне стать на комсомольскую вахту, хотя я еще и не написал заявление? Думаю дать больше леса угольному Донбассу.

* * *

Село осталось позади, а с ним осталась позади и вся выдержка Ганны. Теперь легкий ветерок раскачивал женщину, словно буря. Она не шла, а спотыкалась; голова клонилась на грудь, в глазах темнело, лицо бороздили глубокие складки, поглощая нежность румянца.

— Илько, надежда моя! — стонало все тело.

Не много было у нее омытых слезами слов, но каждое из них било прямо в сердце, и оно в страшном напряжении рвалось из тесной груди, разбивая клетку, в которой родился первый, радостный и затихнет последний, тревожный перестук.

Из-за пригорка осторожно выезжает машина. Женщина не подымает руки, но грузовик

сам останавливается. На обочины дороги соскакивают четыре гуцула и застывают в строгом карауле.

Ганна молча проходит мимо них. Платье ее зацепилось за опущенный борт. Женщина, разрывая одежду, сделала еще шаг и увидела в гробу своего Илька.

Вдова схватилась сомкнутыми руками за сердце, а оно так раздирает грудь, что кажется, бьется уже прямо под сплетенными пальцами...

На погосте от земли даже весной веет осенней грустью, и нет в кладбищенских деревьях веселой придорожной звонкости, точно не ветром омыты они, а медной печалью похоронного звона и брызгами причитаний.

Дорога, изогнувшись, круто поднимается на кладбище, словно в знак того, что даже после смерти отголосок человеческой жизни взлетает ввысь. Может быть, именно поэтому на похороны собирается всегда больше народу, чем в день рождения.

Все село провожало в последний путь Илька Палийчука. Односельчане шепотом поминали добрыми словами последние годы жизни гуцула, и только старухи возвращались к тем давним временам, когда на чужом колючем поле, под чужой копной, у Марии Палийчук родился первый сын. Воспоминания перемешивались, как сметанные ветром лепестки яблоневого цвета, принося из прошлого дороги, исхоженные гуцулом, освещая его труд и сердечную щедрость.

Смерть не в силах убить человеческую любовь, а надгробные плачи сами сотканы из той же любви.

И плачет Ганна, и молча стареет на глазах односельчан, охваченных болью сочувствия. Пасть бы сейчас на землю, забиться на ней, как в детстве на материнской груди. Но она сама уже мать, и не горем надлежит ей утешать своего ребенка... Потому она и оставила маленького Василька с бабушкой в осиротевшей хате... И в голове ее нижутся, нижутся скорбные думы то о муже, то о сыне, пока не обрывает их вновь стон надгробного плача.

— Братец мой, правда моя дорогая! — надрывается голос самой старшей из сестер Палийчука. — Откуда тебя встречать и где тебя привечать? С пахарями ты придешь или с косарями? С поля ты придешь или с моря, с ровной равнины или с крутой вершины? И когда для тебя столы накрывать? И когда тебя в гости поджидать? То ли студеной зимою, то ли ранней весной, то ли в троицын день? Как зимою-то снега заметают, а по весне водой заливают, а на троицын день стежки-дорожки зарастают, а сады расцветают... Стежечки — камышом, дорожечки — спорышом, а вишневые садочки — беленькими цветами...

Земля уходит из-под ног, чьи-то руки подхватывают вдову, или это они подхватывают землю, чтобы она снова всплыла, как из-под воды?

Первые комья, перемешанные со слезами, глухо упали на крышку гроба. Земля раньше времени налегла на гуцула всей своей тяжестью. И вдруг горестный детский голосок потряс всех собравшихся на кладбище, забился в каждом сердце:

— Я не хочу, чтобы засыпали землей! Отдайте мне его...

— Ох, наверное, бабка пустила ребенка попрощаться с отцом...

— Василько! — Ганна подхватывает сына, прижимает его к груди отяжелевшими руками.

Он прильнул к матери, потом поднял искаженное плачем личико.

— Мамочка, родная, окажи, чтоб не засыпали землей!

— Я скажу, дитятко.

Она повернула обратно, и все расступились, давая дорогу матери с сыном.

А вокруг уж поднимались, звенели не скорбные, а гневные слова:

— Мы не хотим, чтобы наших людей засыпали землей. Горячей смолой зальем змеиные норы, чтоб не нависали над нами черные тени. Не спасут их ни океаны, ни Америка...

И эти слова останавливают Ганну. Она оборачивается к людям, слыша их гнев, печаль и любовь.

— Мамочка, ты уже сказала?

- Сказала, Василько.
— А почему же я не слышал?
— Ты еще маленький... Расти, сынок...

Вечер грустно хмурился, когда с кладбища расходились опечаленные люди. Возле плотины членов правления словами и жилистой рукой останавливал дед Шкурумеляк.

— Беда пришла, детушки. Не одна Ганна осиротела. Попрошались и мы с Ильком... А как он нас любил! И на меня, старика, не сердился за мои капризы: знал — старый, что малый... Схоронили человека, а электростанцию его не схоронить. Его глаза закрылись, а вот свет их и до сих пор все село озаряет...

— Так, так, дедушка, — активисты кивали головами, удивляясь тому, что старик говорил совсем не так, как всегда.

— Эх, детушки, а как жаль Ганну! Золотая она работница, была ему и другом, и верной женой, и советчицей, и помощницей. Надо бы развеять нам ее горе.

— Если бы смогли! — вырвалось у Тимиша Шугая.

— А почему же не сможем? Сообща все можно сделать. Вот позовем людей на совет, подумаем. Как же нам о Ганне не позаботиться!

На другой день было созвано общее собрание. Первый раз в президиуме сидел дед Шкурумеляк. Старик, видно, волновался, Поглядывая на дверь: не войдет ли Ганна?

Она вошла в клуб с опозданием, когда над сотнями голов уже дружно поднялись руки. Вот колхозники увидели ее и, не опуская рук, обернулись к ней, согревая ее сердечной приязнью и доверием.

— Кто против? — спрашивает из президиума рослый Тимко Шугай, и руки одновременно опускаются.

— Единогласно?

— Единогласно!

Все снова оборачиваются к Ганне и приветствуют ее рукоплесканиями.

— Ганна, любушка, видишь, как тебя любит село? — обращается к Ганне Шкурумеляк и прикрывает рукой глаза.

— Ганна Максимовна, — подходит к ней заместитель председателя правления. — Люди выбрали вас председателем колхоза. Вот вам печать, знак нашего уважения.

Женщина низко поклонилась народу.

* * *

На широкой площади возле клуба колхозники воронежского села радушно принимают гуцульских делегатов.

— Здравствуй, дочка! — сердечно здоровается с Ксенией Дзвиняч пожилая женщина, знатная звеньевая Мария Говорова.

— Здравствуйте, мама, — поздоровалась Ксения.

— Твоя дочурка?

— Моя.

— Красавица. Как зовут?

— Калина, — отвечает, покраснев, как калина, девочка. — А вас как?

— Мария Васильевна Говорова.

— Мария Говорова? — Дзвиняч застыла, пораженная. — Герой! Это мы вас видели в газете?

— Наверно... Пропечатали, — шутливо развела руками колхозница.

— Герой... и такая простая, — это не укладывается в голове у Ксении.

— Мария Васильевна, у вас орден и Золотая Звезда есть? — спрашивает девочка, глядя на звеньевую.

— Гуцулочка, здравствуй! — с Марийкой знакомятся окружившие ее девушки.

Знакомятся колхозники и с Миколой Сенчуком, и с Лесем Побережником, и все

удивляются, зачем ему такой мешок за плечами.

— Это, наверно, зав хатой-лабораторией, — догадывается юркий курносый мальчишка. — Он, должно быть, как и наш, собирает в рюкзак всякие семена.

— Сказал тоже! У них еще нет хат-лабораторий, — возражает другой.

— Так будет! Экой ты недогадливый! Дядя, правда, что вы собираете в мешок разные семена?

— Так, так, — смущенно соглашается Лесь.

— Ну, что я тебе говорил! — торжествующе обращается курносый мальчуган к своему другу Андрейке, направляясь вслед за делегацией.

В просторной хате-лаборатории гости расселись вперемежку с колхозниками. Вокруг — достижения честного труда — щедрые плоды, золотые колосья, отборное зерно.

— Вот перед вами сахарная свекла с участка Марии Говоровой, — указка председателя колхоза Петра Иванова останавливается на стеллаже с огромными экспонатами.

— Вот это свекла! Из одной такой... литр самогона выйдет! — вырывается у Леся.

Ксения Дзвиняч с возмущением дернула его за рукав и умоляюще посмотрела на Миколу Сенчука: мол, остановите же человека! Но Сенчук, записывая что-то в тетрадку, только усмешливо поморщился: «Что вы, Лесья не знаете?»

— Благодаря передовой советской агротехнике звено Марии Васильевны собрало с гектара по девятьсот четыре центнера свеклы.

— Пять с половиной тысяч пудов?! С гектара?! Такого, прошу вас, не может быть! — Лесья даже вскочил.

— Как не может быть! — заведующий хатой-лабораторией Марк Далецкий удивленно приподнялся, и на его груди серебряным перезвоном откликнулись боевые и трудовые ордена и медали. — Мы дорожим честью своего хлеборобского слова.

— Это не зав хатой-лабораторией, это типичный единоличник, — у курносого мальчугана разочарованно кривятся губы.

— Григорий, это живой единоличник? — удивился Андрейка и, гремя коньками, стал пробираться вдоль стенки вперед, чтобы получше разглядеть Леся.

— Пять с половиной тысяч пудов? — Побережник застыл в раздумье. — Да это же земля треснет!

Слова его покрыл гомерический хохот колхозников.

— Микола, ради бога, скажите вы ему, как вы умеете! — с гневом обратилась Ксения к Сенчуку.

— Да надо ли, Ксения?

— Пусть не срамит нас. Что об нас люди скажут?.. У меня щеки горят.

— Он, Ксения, не гуцулов срамит, а тяжкую нашу отсталость. И пусть очищает душу от сомнений до самого дна, пусть все, все вытряхнет, ничего чтоб не осталось. Пусть их не окрик, а жизнь рассеет. Так будет лучше.

— А и верно, — согласилась женщина и неожиданно сказала: — Микола, а это правда? Самой не верится... девятьсот четыре центнера!

— Лесья поможет тебе поверить. Слушай и красней, если тебе хочется, — проговорил Сенчук, ласково глядя на смущенное лицо Ксени.

— Не обижайся, милый человек, — обратилась к Лесю Мария Васильевна, — насмешил ты нас до слез. Но это хороший смех. Он и тебя заставит подумать, как на гуцульских землях вырастить высокие урожаи.

— Да на нашем поле никогда столько не уродится!

— Эту басню мы тоже слышали, только прежде, в тридцатых годах. И нам тогда больше пристало слушать: ведь тогда никто в мире не собирал таких урожаев. Нам, добрый человек, во всем было трудней: мы прокладывали первые борозды нового мужицкого житья-бытья. Зато на ваши плечи не лягут теперь прежние наши ошибки и неудачи. Мы от души поделимся своими радостями и надеждами и остережем от своих ошибок... И не ругай, друг, не кори свое поле, а позаботься о нем как следует, по-крестьянски. Полюби его, как

любил в молодости рассветы, — в нем жизнь твоя и радость, твой хлеб и слава, если ты не поденщик, а честный хозяин на земле. Правда, и у нас еще многое не сделано, и у нас есть отсталые звенья, есть, не буду греха таить, и недостатки, — особенно в огородничестве, — от которых терпят и колхозники, и земля...

Мариечка Сайнюк слушает неторопливую речь Говоровой, как песню, и выражение глаз колхозницы отражается в ее доверчивых глазах.

— Земля любит хозяина, разумного и неутомимого, колхозного хозяина. И тогда она не устает цвести и родить. А если ты не хозяин, а так себе, ни рыба ни мясо, если ты глядишь только, как бы протянуть день до вечера, да и завалиться барсуком в нору — против тебя и самая лучшая земля озлобится.

— Я не так себе, Мария Васильевна.

— Вот и хорошо, Лесь Иванович. А раз так, вызываю тебя на социалистическое соревнование. Мы вам поможем опытом. Поучитесь здесь, а потом, если понадобится, и к вам приедем. Только надо, Лесь Иванович, чтобы вы не раскачивались, как маятник, а с разбегу уже в этом году догоняли нас. Нелегко будет сначала. Да доброе начало что воз: сдвинь с места — и покатится... Будешь догонять?

— Побегать можно, только догонишь ли? — усомнился Лесь.

— Значит, боишься, значит, извини, не настоящий хозяин земли передо мной. А ты, Ксения, не побоишься со мной соревноваться?

— Не побоюсь! — женщина взволнованно поднялась. — Хоть и страшновато...

— Ты уж как-нибудь свой страх Лесю Ивановичу сбуди, — он, я думаю, выдержит такую ношу, — а себе возьми нашу любовь к земле, — и она покосилась на Лесья.

— Чтоб как рассвет в молодости?.. — улыбнулась Ксения.

— Не меньше, дочка.

Мария Васильевна подошла к Ксении, пожала ей руку. Женщины миг постояли недвижно, потом обнялись, поцеловались под одобрительные аплодисменты колхозников.

— А ты, гуцулочка, тоже будешь соревноваться со мной? — обратилась Говорова к Мариечке Сайнюк.

— Очень... очень уж велика честь для меня! — зардевшись, отвечала девушка.

— А ты чести не бойся, тем более великой. С нею меж людей жить не стыдно. Только гляди, Мариечка, перегони меня. Ты ведь молодая, как утро росистое.

— Ой, что вы!

— Ты не ойкай, а послушай меня.

— А вы тогда... сердиться не будете?

— Отстанешь — рассержусь. Молодым надо учиться у старых и... перегонять их. Непременно перегонять.

— Хоть бы догнать!

* * *

Колхозники и гуцулы уже ушли из хаты-лаборатории, только Лесь, оставшись наедине с Марком Далецким, внимательно разглядывает невиданные снопы хлеба. От, покачивая головой, вдыхает запах колосьев, иногда подозрительно теребит их руками, не замечая, как и смешит и раздражает этим Далецкого.

— Свет ты мой! Сто девяносто два пуда пшеницы уродилось. Из колоска — горстка, из снопики — мерка. Как в колядке. Может, прошу вас, товарищ заведующий, дадите мне пару таких колосков? А то как стану рассказывать о них людям, не поверят они Лесю. Скажут: «Заврался ты, Лесь, а как мне такое слушать в мои-то годы?»

— Возьмите, Лесь Иванович, — Далецкий выносит из соседней комнаты отборные золотые колоски.

— Премного благодарю.

Лесь останавливается перед свеклой Марии Говоровой, жмурится и снова раскрывает

глаза. Косясь на Далецкого и выбрав момент, когда тот собрался выйти в другую комнату, он... колупнул экспонат затвердевшим ногтем.

— Настоящая свекла! — убедился он наконец. — Может, прошу вас, порадуете меня и таким подарком?

— На самогонку? — допытывается заведующий хатой-лабораторией.

— Ой, нет! Напоказ! Ведь даже моя Оленка не поверит, что бывает свекла больше коновки²².

— И семян дать?

— Премного благодарен, товарищ зав хаты-лаборатории...

Со свеклой в обеих руках, как сват с караваем, Лесь выходит на колхозный двор и по берегу широкого пруда направляется к клубу. Карманы Лесья, наполненные всевозможными семенами и колосьями, оттопыриваются.

— Вон наш единоличник со свеклой спешит. Театр! — закружившись на коньках, крикнул Андрейка Григорию.

Мальчики, перегоняя друг друга, подъезжают к Лесю.

— Лесь Иванович, может, дать вам несколько початков кукурузы? Мы на школьных участках вырастили. Высокоурожайная, и каша из нее — просто мед!

— Спасибо вам, детки! — Лесь окидывает школьников потеплевшим взглядом. Но крестьянская осторожность снова берет верх, и он снова морщит лоб. — А что вы, детки, ели сегодня?

— Что ели? — удивляются Андрейка и Григорий. — Борщ, пирожки и компот из гибридных груш.

— Из каких? Из каких?

— Из вот таких! — Андрейка сложил вместе два кулака.

— Вон из каких? Хорошее блюдо, колхозное!

— Ясно, не единоличное, — с апломбом отвечает Андрейка.

— Лесь Иванович, заходите к нам в конюшню! — пересмеиваясь, кричат конюхи, и Лесь с достоинством несет свою свеклу к просторному каменному строению.

— Ой, какие у вас кони! Верно, сам Георгий-победоносец не седлал таких!

— А наши победоносцы каждый день седлают! — старший конюх показал рукой на площадь, где джигитовали молодые колхозники...

— Лесь Иванович, загляните к нам, — перехватывают гуцула доярки в белых халатах.

— В больницу?

— Не в больницу, в коровник.

— Так вы не медицинские сестры?

— Нет, мы доярки.

— У нас когда-то в шляхетской больнице фельдшерки так бело не ходили. Чем же ваши коровы заслужили такой почет?

— Молочными реками.

— Молочными реками? — Сомнения, снова зародившиеся в голове Лесья, гонят его в коровник.

Чистота, свет, электричество, породистые коровы, теплый дух молока поражают гуцула.

— А это что за музыка? — Лесь нажимает на автопоилку и со страхом отдергивает руку.

— Автопоилка, — смеются девушки.

— Умен был человек, эдакое смастерил! Видать, молочная скотинка?

— Каждая корова дает по три тысячи литров на круг.

— Куда ни кинь — всё тысячи!

²² Коновка — деревянное ведро.

* * *

— Мое звено за этот год только дополнительной оплатой получило тридцать два центнера сахара и сорок одну тысячу деньгами, — рассказывает гуцулам Мария Говорова.

— Опять тысячи! — удивляется Лесь. — И что вы прощу вас, делаете с ними?

— Культурно живем, — звеньевая включила электричество, и просторная комната подтвердила ее слова прежде всего множеством книг в ярких, разноцветных переплетах.

Лесю, однако, больше понравился самый шкаф, чем находящиеся в нем книги.

— И когда вы успеваете читать их? Мария Васильевна, так вы, прощу вас, много получили сахару? — снова удивил всех нетактичностью вопроса Лесь.

— Ступайте, поглядите, — женщина повела гостей через комнаты к просторному и светлому чулану. — Вот он.

— Ой, сахар мешками?! — не удержался от недоверчивого восклицания Лесь. — И настоящий, хороший сахар?

— Посмотрите, — хозяйка принялась развязывать мешки.

Лесь, как замороженный, не отходил от них. Он долго старался побороть в себе сомнения, но они и на этот раз взяли верх.

— Славный, славный, — похваливая сахар, он стал разгребать его пальцами и вдруг засунул руку глубоко в мешок.

— Лесь! Куда вы свой стыд девали? Что вы делаете? — краснея, набросилась на него Ксения Дзвиняч.

— Проверяю, Ксения-любушка, не отсырел ли... — Лесь смущенно разжал горсть и вдруг радостно, с вызовом, воскликнул: — И впрямь сахар, прощу вас, сахар, а не соль! — и он погрозил другим кулаком туда, где, по его расчету, могла быть шайка Бундзяка...

Ужинать у Марии Васильевны Лесь не остался, как его ни упрашивали.

— Ой, не до ужина теперь, — он кланялся, благодарил, улыбаясь своим мыслям. — Мне, прощу вас, не ужин дорог, мне дорого, что вы такие славные люди. Дай вам бог счастья и детям вашим.

Он неожиданно поцеловал Марию Васильевну, смутил этим ее, смутился сам и, беспомощно разведя руками, выбежал из хаты, опережая добродушный смех хозяев и гостей.

«Тут есть причина посмеяться. Есть причина!» — повторял он.

По узенькой глубоко протоптанной дорожке он свернул в сад и, не пригибаясь, пошел к теплице. Ветви, отягощенные снегом, стряхивали на него холодные снежинки, которые, однако, казались теперь теплыми лепестками цветов, потому что размечтавшийся гуцул уже видел перед собою весну.

В теплице гостил май, и странно было встретить посреди роскошной зелени и цветов седобородого, как дед-мороз, садовника.

— Сынок! — окликнул Лесь старик с другого конца оранжереи.

Лесь в смущении застыл возле порога, думая, что садовник, верно, ждал вечером сына.

— Подойди ближе, сынок, — снова позвал его старик.

Гуцул понял, что слова относятся к нему, но переспросил:

— Это вы мне говорите?

— Конечно, тебе, — ответил садовник. — Хорошо, что зашел сюда. Дыши весною, — и он мягким движением показал на разноцветные огоньки цветов, среди которых зеленели плети огурцов, а еще дальше сквозь листву проглядывали румяные помидоры.

— Дедушка, продайте мне немного цветов...

Садовник с удивлением поднял на него глаза.

— Глупый ты, Лесь Иванович... Какой глупый! — старик без укора покачал головой.

— Нет, дедушка! — Лесь горделиво выпрямился. — До нынешнего дня был я глуп, а теперь нет...

— Ну, ежели сам видишь, что поумнел, выбирай себе цветы, — садовник беззвучно

засмеялся, и его седая борода затряслась над алыми лепестками.

Лесь Побережник по тихим улицам приблизился к центру села и, сняв шапку, подошел к памятнику Ленина. Он осторожно поднялся по ступенькам, склонился перед постаментом и положил у подножия памятника живые цветы, как частицу весны, расцветшей в его душе.

Он замер у памятника в глубокой задумчивости, прислушиваясь, как нарождались, бурлили в душе новые потоки. И не слышал, как вышли из клуба: люди и, сперва с удивлением, а потом охваченные сердечным порывом, подошли к нему.

Когда Лесь оглянулся, вокруг него теплой волной колыхалась толпа народа.

* * *

Снова хата-лаборатория. На окна наплывает синий вечер, и золотые челны облаков тихо покачиваются на изменчивых узорах, еще не дорисованных морозом.

— Вот и закончилась, друзья, последняя лекция, — с сожалением проговорил Петр Иванов, и гуцулы оторвались от своих тетрадок. — Лучшее, что вы здесь увидели, везите с собою, а недостатков наших не повторяйте. Надеюсь, наши простые советы кое в чем помогут вам, не все они увянут.

— Зазеленеют на наших полях весной, — поднимаясь, ответил за всех Микола Сенчук.

— Зазеленеют и зацветут, — встала рядом с ним Мариечка.

— Основа богатства — высокий урожай! — рассуждает вслух Лесь Побережник. — Так что, Микола, вековали мы на земле без книги, а теперь надо хоть зимой заглядывать в нее. Вот только если бы букашки в них покрупней печатали.

— А вы пошлите свое предложение в издательство, — советует Иванов.

— Уважат малограмотность нашу?

— У нас труженика всегда уважают.

— Пронеслись эти дни, как девичий сон, — задумчиво проговорила Ксения Дзвиняч, закрывая тетрадь. — Как дружно, красиво живут люди!

— И мы так будем жить, — Микола Сенчук обвел взглядом всех гуцулов. — Перед нами вторая половина нашей судьбы...

И вот он развивает эту мысль перед многолюдным колхозным собранием:

— Нуждой, голодом, болезнями гноили нас паны и подпанки. «Коза не корова, гуцул не человек», — издевались они над нами и сдирали с гуцула потрескавшуюся шкуру от волос до пят либо заталкивали в трюмы нашу живую душу и везли на пытки за океан. Горный цвет наш — гуцульскую молодость — с корнем вырывала ненасытная Америка. Все свои штаты усеяла она нашими горькими могилками и только изредка возвращала родным горам немощных калек. Озлобленные горем, мы не верили, что кто-нибудь может пожелать добра мужику, что кто-нибудь болеет душой, глядя, как нас обездоливают.

— Так, так Микола, — утвердительно кивает головой Лесь Побережник.

— А теперь, как ржавчина в огне, догорает наше веками накопившее мужицкое недоверие. Бандеровское отродье еще цепляется за него своими когтями, надеясь где дурманящим словом, где заокеанской пулей, а где и виселицей отгородить нас от жизни всей нашей отчизны, не дать горцам жить по-человечески. Но не бывать этому никогда, — мы вступили во вторую половину нашей судьбы, пришла великая вера в новое, ибо идет на гуцульские горы и доли коммунизм.

Волнуясь, стоит на трибуне Ксения Дзвиняч. Не меньше матери волнуется в зале Калина, сидя рядом с белобородым колхозником Павлом Косовым.

— Люди добрые, родные братья и сестры! Мне, темной, забитой гуцулке, впервые довелось выступить перед таким большим и мудрым собранием. Так что, если собьюсь, не смейтесь надо мной.

— Чего там, не собьешься! — подбодряет ее из зала Косов.

— Когда я собралась ехать к вам, меня и дочку пришли пугать бандиты. Чего они только не наговорили про колхозы и про то, что «на земле всегда будут волы и погонщики!

Видно, так им, в ихней Америке, хочется, а мы желаем быть людьми, перенестись из безрадостной жизни в радостную. У вас мы увидели, как нам надо жить, как надо любить и людей и землю. Приеду к себе и попрошусь, чтоб меня звеньевой выбрали... Вы, может, не понимаете, что я говорю?

— Все понимаем, дочка. Правда на всех языках понятна, — отозвалась из президиума Мария Говорова, и слова ее были покрыты аплодисментами.

— Тогда спасибо вам, родные, за сердечный прием за науку... Говорила бы еще, да... слезы не дают. Я вам писать буду, нам не только при встрече, нам всю жизнь счастлива дружить... Пусть счастье, пусть дружба, пусть верность растет!

Колхозники горячо аплодируют госте.

— Мамочка, я так рада... Я так боялась, так боялась за тебя, и сейчас еще знобит от страха... — подбегая к матери, тараторила Калина.

— Ксения, голубка, — говорит Лесь, — ты сперва и меня напугала, что собьешься, а потом говорила как учительница. Ей-богу, не всякий мужчина так нанижет слова. И Микола хорошо выступал. Как заговорил о том, что мужицкое недоверие ярким огнем горит, я и подумал: здесь и мое сгорело, только, может, не весь еще чад разошелся.

— Вот это называется самокритика! — к Лесю и Ксене молодецкато подошел Микола. — Пойдемте в зал, самодеятельность начинается. Надо и нам гуцульскую пляску показать, хозяева просили. Готовься, Ксения. А Мариечке и говорить нечего, — и он улыбнулся девушке.

— «Аркан» или «увиванец»? — деловито спросил Лесь.

— Ксения, что прикажешь?

— Еще собьемся... — заколебалась женщина.

— Если уж гуцулка на трибуне с первого раза не сбилась, кто ж ее в пляске собьет? — проговорил, подходя, Петр Иванов.

Колхозный хор поет «За окном черемуха колышется». Гости, очарованные песней, ловят слова и мотив и волнуются перед предстоящим выступлением.

Прозрачная мелодия грациозного «увиванца» вынесла гуцулов на сцену. В пляске расцветает их одежда и лица; отзвук юности молодит Лесья Побережника, а Ксене Дзвиняч приносит с дальних гор чистую девичью красу былой юности. О чем же ты задумался, Микола, украдкой поглядывая на чудо, которое совершает с человеком счастье, и отчего твоя радость омрачена вздохом?

Праздник закончился поздно ночью. Во дворе встретила колхозников звонкая метелица. Она, верно, из зависти перехватила у людей праздник и все кружилась, кружилась под музыку ветра, зазывая в свою пляску поля, леса и село. До утра она осыпала все избы и улицы черемуховым цветом, не утихла и в час, когда гуцулы сердечно прощались с русскими колхозниками.

Вот к Марии Говоровой припала Ксения Дзвиняч, Мариечка целуется с такой же молодой, как она сама, девушкой, Микола Сенчук крепко пожимает руку Иванова, а Лесья Побережник с разбухшим мешком за плечами нагнулся к своим юным друзьям Андрейке и Григорию.

— Будьте здоровы, детки. Будьте здоровы, люди добрые.

В это время из его мешка, весело скаля желтые зубы, высунулся здоровенный початок кукурузы.

Машины выезжают за село, и гуцулы вдруг слышат знакомую песню «За окном черемуха колышется». Это, расставляя на поле щиты, поют колхозницы, и Мариечка, посылая им прощальный взгляд, задумчиво произносит:

— Зима, вьюга метет, а люди поют про весенний цвет...

* * *

Ветры, вьюги расшевелили ночь, и она, вся в могучем порыве, пронесит, рассеивает над

землей смесь зимних и весенних шумов: вот, прислушиваясь к тоскливому волчьему вою, заголосили взбудораженные непогодой пихты, и вдруг хлопья снега зашуршали, как стаи перелетных птиц, а ветер, утихая, защебетал, как ранний лесной ручеек, только-только пробуждающий корни и соки деревьев.

— Как из рукава сыплет Черногора! — говорит Лесь, помогая Ксене Дзвиняч выйти из машины.

— На урожай, Лесь Иванович! — радостно откликается Мариечка. — Вот мы и дома.

— Так ты уже после путешествия решила стать районным начальством? — допытывается Лесь, подымаясь на крыльцо гостиницы.

— Еще повыше!

— А я сейчас хотел бы попасть к своему начальнику.

— К тетке Олене?

— А к кому ж? Хоть она и точит на мне зубы шесть дней в неделю, а все без нее словно бы недостает чего-то. Привычка, что ли?

— Любовь! — серьезно констатирует Дзвиняч, кусая губы.

— А что ты думаешь, Ксения-любушка, и любовь есть. Не такая пылкая да нежная, как у молодых, не вздыхаем, не целуемся до рассвета над Черемошем, однако, ей-богу, есть. Я о ней даже в двух телеграммах телеграфировал. А будь еще у меня сынок, так и в целом мире не вместились бы моя любовь.

В маленькой светлой комнате Лесь сразу же устраивается, как дома. Раздевшись, он с удовольствием развязывает мешок, осторожно вынимает свои сокровища, боясь, не случилось ли с ними чего-нибудь в дороге. Микола Сенчук тоже раздевается, но, передумав, снова накидывает полушубок.

— Куда это ты, Микола, собрался на ночь глядя? — с удивлением спрашивает Лесь, возясь посреди комнаты со своим добром.

— Черногорским ветром подышать.

— В два часа ночи? Неужто завтра поздно будет?

— Не откладывай, Лесь, на завтра то, что можно сделать сегодня.

— Хорошо, что напомнил, я поужинаю.

Микола уходит. Лесь осторожно вытаскивает из мешка какие-то еще пакетики, потом початки кукурузы, огромную свеклу. Любуясь ею, он тихо напевает:

Ой, ты, свекла, белый корень,
Зеленые листья!
Приходили кавалеры,
А я не в монисте.

«Ой, ты, свекла, белый корень...» Загадала ты мне загадку на много дней и ночей. Думалось: уже и жизнь твоя, Лесь, позади, как пустой мешок за плечами. А люди говорят — впереди, верь, Лесь, впереди... И ведь начинаешь верить!..»

* * *

Микола Сенчук останавливается у райкома. На втором этаже из двух оконных проемов льется свет.

— Работает человек.

Микола медленно прошелся вдоль ограды, потом решительно сорвал с головы шапку и стал сбивать ею снег с полушубка. В райком он входит, кое-как приведя в порядок одежду, а волосы на голове у него белым-белы...

— Входите! — отрываясь от диссертации, отвечает Чернега на тихий стук в дверь.

— Добрый вечер, то бишь... доброй ночи, Михайло Гнатович! — здоровается с порога Сенчук. — Может, не в пору пришел?

— Как раз в пору, Микола Панасович. Видишь, никого нет, даже телефоны молчат. Не помешают разговаривать. Садись, Микола Панасович. Как ездилось?

— Как ездилось? Не в силах, Михайло Гнатович, и рассказать о том, что запало в сердце за эти дни. Великая радость людская и великие надежды... Ездилось, как в песне, где поется про голубей и каменную гору. Помните, когда догоняет человек лета молодые на калиновом мосту?

— Ты гляди!.. — одобрительно проговорил Чернега, подошел к радиоле. Поставил «Из-за горы каменной...» — И что ж, догнал лета молодые?

— Повидал на калиновом мосту, — прислушиваясь к песне, отвечает Микола. — А догонять будем всем селом, всем районом, — нет, всей Гуцульщиной!

— Молодец! Будем догонять... А ты поэт!

— Я? Жизнь делает нас поэтами... Много мы увидели поэтов в колхозах.

— Кого же именно?

— Ну, к примеру, Марию Васильевну Говорову. Поэтесса она или нет?

— Поэтесса, хоть и пишет прозой, — Чернега вынул из шкафа брошюру Говоровой.

— Пусть так, и все же это лучше, чем когда поэзия становится прозой.

— Речь у тебя, Микола Панасович, обогатилась, осмелела.

— Должно быть, потому, что, глядя на людей, и сам человек смелеет. И мечты смелеют... Теперь, Михайло Гнатович, — он понизил голос, — я уже и резьбой понемногу займусь. Так и подмывает поработать. Сплю и вижу новую резьбу.

— В добрый час. — Чернега помолчал, лоб его покрылся морщинами, глаза стали грустными. — Еще об одной теме для резьбы подумай, Микола Панасович. Надо Илька показать. Во весь рост! Чтобы каждый гуцул видел его таким, каким он ходил меж людьми... Ты его самый близкий, самый верный друг. Смерть может уничтожить человека, но она не в силах сломить дружбу, верность... Эх, Микола, и до сих пор не верится, что нет среди нас Илька. Задумаешься — и кажется: вот-вот распахнутся, чуть не слетая с петель, двери и ворвется он, как ветер верховинский, как первый день весны. Или — читаешь про Довбуша — и вдруг видишь Илька...

— Во всем он был человек. Таким, если смогу, и покажу его.

Они одновременно вздохнули и снова помолчали.

— Ну, как погостил Лесь Иванович? — вдруг ласково улыбнулся Чернега.

— Из него так вытряхивалась застарелая труха и пылища, точно кто положил под цеп прошлогодний заовсюженный сноп.

— А умолот будет? — в тон ему спросил Чернега.

— Должен быть. Дорогой он все агитировал меня, что надо братья всем селом за сахарную свеклу: она, мол, и теперь уже сахаром всю отдаст. Я засомневался, уродится ли на наших землях свекла, — так он меня... элементом обозвал и такого наговорил женщинам, что и они прибежали убеждать меня, что сахарная свекла — великое дело. Только придется нам еще немного подучить Лесья: больно он крепко стоит за семейное звено — вписал уже туда и себя, и своего брата, и жену, и жениных сестер.

— А Олену звеньевой?

— Да нет, сам хочет, только боится, что Олена свергнет его власть.

— Опасения небезосновательные. Отдыхают делегаты?

— Отдыхают.

Кто-то постучал в дверь.

— Входите.

— К вам и попозже меня ходят в гости, — покачал головой Сенчук и с удивлением увидал, что на пороге показались Ксения Дзвиняч, Марийка Сайнюк и Лесь Побережник, застрявший в дверях со своим мешком.

— Михайло Гнатович, простите, прошу вас, не терпелось показать вам, что взял с собой, что вез, — все еще продолжая топтаться в дверях, говорит Лесь.

— И в руках и в сердце?

— Больше всего в сердце... Да и руки не пустые...

И вот уже мешок Леся лежит под столом, а на столе красуются колосья, метелки, коробочки, пакетики, кукурузные початки и свекла.

— Еще даже теплый, — Михайло Гнатович взвешивает на ладони початок.

— А его Лесь Иванович всю дорогу яровизировал... плечами, — шутит Сенчук, но Побережник почему-то обижается.

— Ты, Микола, не больно подымай меня на смех, а то ей-богу затоскуешь тут в райкоме. Есть у меня такое слово.

— Что же это за слово, Лесь Иванович? — спрашивает Чернега. — Ну и свекла! Золото, а не свекла, так и отдает сахаром! — расхваливает он Лесево сокровище, незаметно поглядывая на Леся.

— Михайло Гнатович! И я точнехонько такие же слова говорил! — обрадовался Лесь. — А Микола к свекле как элемент отнесся. Вы ему по-партийному прикажите подтянуться.

— Слышишь, Микола Панасович, — подтянуться!

— Есть подтянуться.

— Вот то-то! А ты думал отвертеться шуточкой, — удовлетворенно проговорил Лесь. — Для чего тогда было посылать человека в поездку? Ты не сердись, Микола, тебе еще надо подучиться, я тебе правильную самокритику говорю.

— А это просо не будем сеять! — замечает Михайло Гнатович, разглядывая розовый бисер семян.

— Почему? — удивляется Лесь. — Такое славное и блестит, как самоцвет.

— Этот самоцвет не для наших почв с повышенной кислотностью. У нас лучше родится «местное» номер два или «подолянское» двадцать четыре — двести семьдесят восемь.

— Подумать, такое мелкое просо, а такой большой номер у него! Запишу, чтоб не высеялось из головы! — Лесь вынимает из кармана блокнот и, как первоклассник, тщательно расставляет на страничке широкие буквы.

— А ты, Мариечка, какую кукурузу посеешь? Кремнистую?

— Нет, Михайло Гнатович, наверно «харьковскую». Нам бы на агрономических курсах подучиться.

— А еще чего хочешь?

— Еще? В заочный техникум по сельскому хозяйству поступить и завести в Гринявке электричество. В тех селах, где мы были, так славно! Вечером там небо словно двухэтажное: на первом этаже электрические звезды, а на втором — простые.

— Не многого ли захотела, девушка? У нас сам граф Грифель носился, возился с электричеством, да и прогорел на нем. Так и не дождался двухэтажного неба.

— Так то граф Грифель, а то мы, народ, — Микола Сенчук даже встал, произнося эти слова. — Захотим — так осветим первое небо, что второму завидно станет!

— Захотеть — отчего ж не захотеть. А как ты его выстроишь?

— По методу народной стройки, — подсказал Чернега. — А в вашем селе не так уж и трудно поставить электростанцию.

— Вас послушаешь — сердце радуется! — Побережник придвинулся поближе к Чернеге.

— Видите Черемош? — Михайло Гнатович показал на карту, и все собрались вокруг нее. — Вот от него идет рукав.

— Теперь он сухой, только в паводок оживает, — проговорила Ксения Дзвиняч.

— Стало быть, наша задача — оживить, вдохнуть в него силу на круглый год, навеки.

— Выходит, прокопать?

— Углубить. Неподалеку от луга запрудить, поставить турбину, и вода Черемоша наполнит весельем, сияньем света и улицы, и колхозные постройки, и хаты, и небеса.

— Светло будет, как в городе! — с увлечением проговорила Мариечка.

И, словно утверждая мечту гуцулов, торжественно зазвучал гимн.
— Москва одобряет гуцульские надежды, — сказал Микола Сенчук и встал «смирно», по-военному.

* * *

Теперь на высокой полонине утро начинается торжественным пением.

В зимарке у очага стоят Марьян Букачук, Иван Микитей, милиционеры Борис Дубенко и Богдан Гомин и несколько пастухов. Приемник умолкает, и гуцулы усаживаются в тесный кружок у очага.

— Так расскажи, Василь, как тебя принимали в комсомол, — допытывается старый Марьян, и его борода снежком мелькает над костром.

— Говорят мне из президиума: «Василь Букачук, расскажи нам биограф!» — с достоинством начинает Василь.

— Где граф? Да чтоб он туманом в глухом ущелье развеялся! — возмутился Марьян.

— Не «где граф», а биограф. Жизнь мою, значит!

— Твою?

— Да уж не графскую же!

— Да что ж у тебя за жизнь такая, чтоб о ней рассказывать?

— А я про вашу рассказал.

— Про мою? И про нее нечего рассказывать: как родился человек в г#972;ре, так и съела беда все его годы.

— А я так и докладывал на собрании. Говорю: «Вырос мой отец на чужом поле, за чужой скотинкой ходил. Летом его жара томила, а зимой он в желобах спал, графские волны согревали его своим дыханием, а я хочу, чтобы меня ясное солнце грело».

— Такой у тебя вышел биограф?

— Еще я рассказал, как в лесу работаю по-стахановски. А Иван добавил, что я красуюсь на красной доске лучше всякого графа!

Гуцулы засмеялись.

— И приняли?

— Все голоса за меня поднялись.

— А не много ли у тебя, сынок, ремесел: и лесоруб, и электропильщик, и сплавщик, и комсомолец?..

— Комсомолец — это не ремесло.

— А что же?

— Это — молодость...

Над полониной эхо откликается на зов трембиты²³. Гуцулы выходят из зимарки, прислушиваются к мелодии, в которой изливаются печаль и радость гуцульской души.

— Жизнь вещает трембита! — медленно произносит Марьян, шагнув вперед.

— Созывает гуцулов на большое собрание! — поясняет Василь и, положив руку на плечо Ивана, тоже шагает вперед.

На высокой горе, как изваяние, стоит молодой гуцул в праздничном наряде и вдохновенно трубит. И оживают горы, долины, тропы, прислушиваясь к вешей музыке.

И та же музыка оглушает бандеровцев в их потайном логове. Бундзяк с всклокоченными волосами выскочил из затхлой землянки, по-волчьи обвел взглядом дебри дикого ущелья. Новый призыв трембиты точно в грудь ударил его.

— Смерть вещает трембита! — Он отступил назад и схватился за оружие: вверху затрещали сучья, зазвенели замаскированные колокольчики.

²³ Трембита — пастуший музыкальный инструмент на Гуцульщине. Прямая труба, около трех метров длиной.

— Гей, не стреляйте! Это мы! — вниз скатились Качмала и Вацеба.
— Что же вы, как чужие, за колокольчики цепляетесь?
— Ой, оставьте вы нас в покое, пане атаман! Тут не то что за колокольчики — за смерть едва не зацепились, — сыплет скороговоркой Качмала. — Вацеба уже чуть было руки вверх не поднял.
— А дело сделали?
— Сделали. Все село знает: кто первый запишется в колхоз — умрет либо в петле, либо от пули.
— Чего трембита трубит?
— В колхоз созывает.
— Ну, теперь никто не пойдет! — засмеялся Бундзяк.
— Идут, да еще как! Наслушались делегатов, которые ездили на восток, и теперь спешат, словно к пасхальной заутрене. И нет уже силы, чтоб удержать народ, — проговорил Вацеба.
И тут кулак Бундзяка с силой вдавил его в занесенный снегом откос оврага.
— Вот тебе пасха, стерва!
Из землянки донеслась автоматная очередь. От неожиданности бандиты вздрогнули.
— Кого это там дьявол мучит? — покосился на логово Качмала.
— Это, должно быть, мистер Гордынский охотится на крыс. У него уж, пожалуй, хватит шкурок жене на шубу, — шутит Бундзяк, и в его тоне проскальзывает ненависть к гостю.

Бандеровцы раскатисто смеются и сразу же почтительно затихают, как только из землянки показывается голова Гордынского. Лицо и одежда его после нескольких дней пребывания в тайнике выглядят еще более помятыми; значительно уменьшился живот, зато увеличилось количество заметок для будущих мемуаров. Он, как и каждый уважающий себя лазутчик, думал на старости лет слепить из грязи своих дел томик воспоминаний.

За Гордынским, шурясь от яркого света дня, вылез и другой шпион — Олександр Лепеха. У него было больше богатств в Америке, чем у Гордынского, но он был не столь спесив и больше полагался на остатки бандеровских банд. Он и на мир смотрел проще, чем его коллега, ибо единственной мечтой его, Лепехи, была война. «Война приносит большие убытки, но еще большие прибыли», — в эту формулу укладывалась вся суть его деятельности. И действительно, именно война принесла Лепехе и чины и богатство.

Он подошел четким военным шагом к бандитам, поздоровался.

— Что слышно нового?

— Ничего, кроме дурного, — хмуро ответил Бундзяк. — Ни угрозами, ни оружием уже нельзя оторвать крестьян от колхоза.

— Потому что скверно работаете! — на Бундзяка презрительно уставились выпуклые, с желтоватыми белками глазки Гордынского.

— Как умеем, так и работаем, — покорно соглашается Бундзяк, хотя слова шпиона жалят его, точно шершни. — Что поделаешь, когда Галиция к коммунизму повернулась?!

— Бомбами, бомбами окропить ее! — вырывается у Гордынского заученная фраза.

* * *

По переплетающимся дорожкам, по узким горным тропам, опоясывающим хребты, спускаются в долины гуцулы. А издали кажется, что горы ведут необычайный хоровод: среди пихт на разных ярусах все кружатся и кружатся одна над другой цепочки путников, спускаясь по прихотливо извивающимся стежкам в долину.

— Дед Степан, куда вы? — нагоняя старого Дмитрака, спрашивает пожилой усатый гуцул.

— На собрание, сынок.

— Да пожалейте свое сердце. Ну на что вам с эдаких высот спускаться? Сколько вам

лет?

— Много, сынок, много. Точно и не знаю — не то восемьдесят семь, не то девяносто семь.

— Так на что ж вам по собраниям ходить?

— Праздник земли нашей чую.

А голос трембиты расстилается над селом, заглушая однообразный звон с почерневшей колоколенки. Не из царских врат — из покосившихся ворот церковной ограды выходит без шапки поп.

— Куда люди идут? — оторопело спрашивает он самого себя и оторопело смотрит на дорожку к церкви — на ней ни одного человеческого следа.

— Что же, батюшка, пойдем для самих себя обедню служить или гасить кадило? — спросил, едва не лопаясь от старческого возмущения, дьячок. — В церкви у нас один только воробей летает над святыми образами.

— А где же люди? Людей не вижу.

— Это, батюшка, нас люди не видят.

А людей уже не вмещает по-праздничному разубранный зал. Они теснятся на скамьях вдоль стен, в проходе, и даже на краешке сцены живописно расположилась маленькая группа гуцулов.

— Товарищи, так какие будут изменения и дополнения к порядку дня? — спрашивает из президиума Микола Сенчук.

— У меня будет дополнение к дневному порядку, — заявил, поднимаясь, Юрий Заринчук. — Перед тем, как записываться в колхоз, пускай еще кто-нибудь из делегатов расскажет о жизни в восточных колхозах.

— Да ведь, Юрий Петрович, об этом уж столько говорилось и на собрании, и во всех концах села, и в хатах!

— А может, не все люди с дальних вершин слышали?

— Все горцы слышали! — подтвердил Марьян. — Однако отчего ж и еще раз не послушать то, что идет из доброго края, от доброго сердца. Дурное я и один раз не стал бы слушать, а для хорошего у меня всегда душа открыта.

Снаружи входят Василь Букачук и Иван Микитей.

— Так примем дополнение?

— Всеми голосами! — отвечает собрание.

— Есть еще какие-нибудь дополнения или изменения?

— У меня есть хорошее изменение! — молодецки выпрямившись, заявил Иван Микитей. — Как дойдем до второго вопроса, до записи в колхоз, надо будет изменить состав собрания.

— Как изменить состав собрания?

— Выгнать богачей и келаря. Тогда станет свободнее в зале и на сердце. Верно?

Смех покрывает возмущенные выкрики кулаков.

— Люди! Неправильно говорит Иван Микитей! — вырывается у Василия Букачука.

— Как неправильно? — Иван растерянно посмотрел на друга.

— Зачем нам ждать до второго вопроса, когда эту погань и сейчас можно выгнать? Пускай не собирают наши речи для врагов!

— Выгнать!

— Вывести под руки!

— Нет такого права!

— А мы у вас и не спросим!

Иван Микитей, расталкивая людей, весело подошел к Палайде.

— Как, дяденька, сами дойдете до порога или пособить вам?

— Пошел вон, голяк залатанный!

— Сами убирайтесь вон! — отвечал Иван, схватив кулака за плечи. — Да поживей, пока мое колено вежливо не помогло вам выйти.

Молодые гуцулы ведут к порогу и Пилипа Нарембу, и Штефана Верыгу, и келаря. Юстин Рымарь, глядя на эту непривычную картину, не удержался:

— Как в песне: один ведет за рученьку, другой — за рукав. Хорошо, что и монаха туда же!

Веселый смех пронесся по залу, вырвался на улицу, и там как плетью осек багровых от стыда и злобы богатеев.

— Вот так и из жизни выгонят, — лохматый Палайда нагнулся за палкой.

— Так надо поскорей что-то делать, настает наш черный день. — И Наремба тащит Палайду и Верыгу подальше от молодежи.

— Где же Бундзяк запропастился? — Палайда морщит лоб. — Обещал потопить все собрание в крови, а пока голодранцы без крови топят нашу честь и наше будущее.

— Может, милиционеры или эти басурманы перехватили его? Ишь, как сторожат! — Верыга кивнул головой в сторону молодых гуцулов.

— Эхо от выстрелов было бы слышно. Ночь морозная, — возразил Палайда.

— Пойдем на погост.

— Не рано ли? — Палайда впился взглядом в Нарембу и даже вздрогнул.

— Самое время! — Верыга захихикал.

* * *

Ночь проплывает в звездной тишине, и очертания гор легки, как рисунок пером.

Возле сельского исполкома четко вырисовываются фигуры молодых гуцулов. Они охраняют собрание.

Порой кто-нибудь из них не выдерживает — припадет к стеклу, и кажется, что и дышит-то он теми самыми словами, которые рождаются в душе всего села.

Ой, ты, мать родная,
Черногора наша...

Песня плеснула к звездам. И потомки Довбуша, распевая о прошлом, чувствуют, как рядом с ними создается будущее.

Василь глянул на Черногору и словно увидел весь мир.

— Браточки! Василь! Иван! Петро! С гор к Черемошу спускаются Бундзяк, Вацеба и Качмала. Верхами!.. — кричит, подбегая к молодежи, гуцул-подросток. — Вон! Слышите?

Издали донеслись выстрелы.

— Ярослав, скажи Миколу Панасовичу. Сейчас же! — приказывает Василь. — Только потихоньку, без крика.

— Скажу так, что сам бог в раю не услышит! — горячо отвечает паренек.

— Бежим, братцы!

Молодые гуцулы бегом бросились к Черемошу.

На площади в растерянности стоит Ярослав. Что ему делать: бежать в исполком или догонять парней? Новые выстрелы подсказали решение. С сердцем махнув рукой в сторону исполкома, он бросается за гуцулами. Из-под ног его взлетает мягкий снег, и в лунки следов затекает мгла. Парнишке и страшно и весело. Эх, будь у него хоть какой-нибудь карабин!.. Он тогда упросил бы Бориса Дубенка выслеживать бандитскую шайку, а сам не побоялся бы встретиться даже с Бундзяком. Уже сколько раз ускользал тот от справедливой народной кары. Если бы не горные ущелья да не вековечные леса, где за десять шагов света не видно, не доносил бы Бундзяк штанов до нынешнего дня... Да и теперь попадись бандит на узкой дорожке, топорик Ярослава сверкнул бы, как молния, и раскроил бы надвое проклятую рожу выродка.

Мальчуган воинственно выхватывает из-за пояса гуцульский топорик, потрясает им в воздухе, словно ему предстоит сейчас же рубиться с заклятым врагом.

И почему ему, Ярославу, еще не дают настоящего оружия? Через какие-нибудь два года он, как и брат его, окажется уже в армии, может из пушки будет стрелять, — так дали бы теперь хоть карабин! Всему, видно, помеха его незavidный рост. Он уже и сапоги носит на высоких каблуках, а парни все считают его за маленького... Воображение заносит Ярослава то в горные ущелья, где ему предстоит победить Бундзяка, то в героический полк, где служит его брат, то к белокурой Ольге, которая нравится ему, но пусть и не надеется, что он ей скажет когда-нибудь хоть слово! — с ихней сестрой надо вести себя сдержанно.

Он бежит быстрее, догоняет парней, и только теперь его начинает беспокоить сознание вины.

— Ярослав, ты Миколу Панасовичу сказал? — на ходу с беспокойством спрашивает Василь.

— Ей-богу, не успел!

— Как не успел?

— Гром оружия услышал и забыл все на свете.

— Я тебе так забуду, что и бог в раю и сатана в аду разом услышат твой голос! — Он бросился было на мальчугана, но сразу же опомнился. — Ребята, бегите к Черемошу! Иван! За мной... Не разрослась бы беда... Ох, уж этот мне вояка на высоких каблуках! Избил бы, да времени нет.

У Ярослава чуть слезы на глазах не выступили.

Василь зачем-то еще раз оглядывается, вздыхает.

— Бежим, Иван... Как бы не случилось чего...

Недаром тревожился молодой лесоруб. Он словно чувствовал, что в это время к площади подкрадывались, ведя коней в поводу, Палайда, Наремба и Верыга. Вдруг заржал конь, и Палайда с такой силой хватил его по зубам автоматом, что уздечка загремела...

* * *

Собрание застыло в ожидании. Даже перья на гуцульских крысаях не шелохнутся.

— Товарищи, кто первым положит начало коллективной жизни в Гринявке?

На скамье зашевелился Лесь, но жена осадила его с мягкой укоризной:

— Лесь, веди себя скромно. Есть люди достойнее.

Только это и остановило Лесю. Он оглянулся, вздохнул.

— Не убивайтесь, Лесь, запишемся, да не первыми, — утешал его Юстин Рымарь. — Я думаю, лучше помаленьку в середине примоститься, — и он бросил подозрительный взгляд в окно.

— Не стыдитесь, люди, первыми привечать гуцульскую жизнь, — взволнованно говорит Микола Сенчук.

— Прошу слова! — поднялась Ксения Дзвиняч. — Может, не пристало женщине первой записываться? Так пусть кто-нибудь из мужчин запишется прежде меня, — хочется, чтобы первый стоял в великом списке хозяин.

В это время в разрисованное морозом окно ударил выстрел. Лицо Ксении потемнело от крови.

Гуцулы, стоявшие у дверей, выбежали на улицу.

Мариечка с горестным криком кинулась к Дзвиняч:

— Убили Ксению! Ксения! Ксения! Оксаночка!

— Не убивайся, Мариечка, — Дзвиняч отерла со лба кровь. — Это не пуля, это меня стеклом поцарапало. Не плачь, Мариечка!

— Ксения, любушка! — девушка прильнула к женщине, заглянула ей в глаза. — Меня словно в сердце ударили!.. Я тебя сама доведу домой. С Василем. Охранять тебя будем.

— Сейчас мое место здесь. Садись, Мариечка, рядом и вытри слезы. Чтоб не портили они тебе румянец, как мне когда-то! — и Ксения вздохнула, вспомнив свою развеянную по чужим нивам молодость.

* * *

По тихим улицам бегут, опередив остальных, Иван Микитей и Василь Букачук. Вот они припали к земле, читая на снегу карту следов.

— Всадники повернули к Черемошу, а пешие — на леваду. Нам бы сейчас коней быстрых, перехватили бы их за рекой.

— Надо бежать на леваду, — выпрямляясь, проговорил Василь.

Напряженные фигуры гуцулов замелькали меж занесенных снегом деревьев.

На бугре неясно проступили очертания низенькой церковки, погоста. Под прикрытие его спешат Наремба, Палайда и Верыга.

— Штефан, защищай наши души! — заметив погоню, со страхом зашептал Палайда.

— А что, моя шкура дешевле вашей? Поглупей себя нашли?

— Ты, Штефан, умеешь и в темноте стрелять... За острый глаз и твердую руку награжден. И ноги у тебя помоложе. А мы что? — хнычет Наремба.

— Не хитрите. Встречайте дружной. Их только двое! Остановились. — Верыга обернулся, выстрелил.

— Хоть бы схорониться за ограду, до погоста бы добраться! — вздыхает Палайда.

— До погоста еще доберетесь! — Верыга проговорил это так зловеще, что Палайда и Наремба переглянулись.

— Задержи их, Штефан, пока мы до ворот добежим, — хнычет Палайда, неумело отстреливаясь от погони. — Богом молю тебя!

— Хоть чертом — не поможет.

— Над нами пули жужжат. Добычу ищут. Помогите, Штефан! Век не забуду. Штефан, один уже отстал. Помогите! Век не забуду, — у Нарембы трясется голова.

— А я чтобы век в земле гнил? Ложитесь на снег...

Верыга презрительно кривится.

— Ложись первый! И защищай нас!

Наремба и Палайда дружно толкнули Верыгу; он упал на землю, а кулаки тем временем из последних сил помчались к погосту.

Верыга с трудом поднялся, прихрамывая пробежал немного, застонал. Дрожащими руками пустил пулю вдогонку кулакам и обернулся навстречу Василию Букачуку, который бежал уже впереди Ивана.

Почти одновременно сверкнули два огонька, и Верыга, оставляя позади себя темный след, попятился и пятился до тех пор, пока не уперся спиной в церковную ограду.

Василь повернулся и пошел навстречу Ивану.

— Конец? — спросил тот.

— Собаке собачья смерть.

— Посмотрим?

— Не на кого. Пойдем. Нас люди ждут, — и Василь решительно направился в село.

...Собрание продолжается.

— Люди добрые, так кто после Ксени Дзвиняч?

— Теперь мы все хотим первыми записаться, — решительно поднялся Юрий Заринчук.

— Все хотим первыми! — горячо поддержал его Лесь Побережник.

— Пусть будет так! — согласился Марьян Букачук.

— Да как же это сделать? — вслух недоумевает дед Савва.

— А вот как! — неожиданно поднялся Дмитро Стецюк, и люди увидели у него в руках вырезанный из бумаги круг. — Вот тут все и подпишемся.

— Отец, как вам не совестно! — Настечка вспыхнула и стала пробираться к отцу.

— И придумает же человек!.. Круг какой-то!

— А чего там! — поддержал Стецюка Юстин Рымарь и нагнулся к своей Василине. — Все подпишемся, все будем первые, а у врагов от этого круга голова закружится. Я всегда

говорил, что Стецюк умная голова.

— Ну, как мой список? — спрашивает Стецюк, подавая Сенчуку свой круг.

Микола Панасович, обведя собрание лукавым взглядом, тихо задает вопрос:

— Люди добрые, а не удивит это изобретение гуцулов из других сел?

— И верно, может удивить! — отозвались из зала, и раздался смех.

— И я так думаю... Кто плохо знает дорогу, тот кружным путем идет, — и он очертил круг над бумагой Стецюка. — А кто знает дорогу хорошо, тот идет прямо. Так, может, составим прямой список?

Слова Сенчука покрывают смех и аплодисменты, и собравшиеся начинают подходить к сцене. Одним из первых склоняется над столом и Юстин Рымарь. Торжественно обмакнув перо, поставил на бумаге три крестика, отстранился, еще раз глянул на свое чистописание и возгордился.

— Юстин, ты где подписался? — тербит его за киптарик Василина.

— Где лучше всего написано, там и есть моя подпись.

— Посредине? — присматривается Василина.

— Где там посредине! Первым стою!

— Так пошли, Юстин, домой. Может, наша лошадка уже...

— Ты, Василина, одна иди. Я еще с людьми посижу.

— Юстин, есть у тебя голова на плечах? А что, если кобылка ожеребится?

— Тогда ты первая увидишь жеребеночка. Пусть уж тебе выпадет такая честь.

— Ты что — переменялся или подменили тебя? — Василина широко раскрыла глаза. — Или кони на Гуцульщине больше не в цене?

...На следующую ночь в хату Ксени Дзвиняч ворвались Бундзяк, Качмала и Вацеба. Бундзяк первый навел оружие на застывших у стола женщину и ребенка.

— Значит, первой записалась? — Бундзяк скрипнул зубами, словно они у него выкрашивались. — Захотелось на том свете в самой черной смоле захлебнуться?

— Чтоб она вам еще на этом горло залила!

— Так ты еще голос подаешь? — Бундзяк ударил Ксению дулом пистолета в грудь. Блузка у женщины набрякла кровью.

— Мамочка, родная! — вскрикнула Калина и, дрожа, еще теснее прижалась к матери.

— Не плачь, Калинка, — Ксения погладила девочку по голове и с ненавистью взглянула на бандитов.

— Слышишь, падаль, изрезал бы тебя сегодня на мелкие куски, не будь глупого приказа. Велено, чтобы ты как первой записалась, так завтра же первой бы и выписалась. Нашлись такие, что пожалели твою кривую душу. Выпишешься?

— Не дождешься, убийца!

— Нет, дождусь! — Бундзяк рассвирепел, и на лице его выступили неровные пятна синей, нездоровой крови. — Ради жизни твоего ребенка выпишешься. Гей, клади ее голову на порог! — заорал он, криво глянув на Качмалу, и бандит кошачьим прыжком подскочил к женщине, вырвал у нее девочку и понес к порогу.

— Мамочка! Спасите меня, мамочка!

Ксения, рыдая, бросилась за девочкой. Бундзяк ударил мать автоматом по голове, и она рухнула на пол, поднялась и снова осела.

— Руби! Вот топор! Чего застыл, как распятие на дороге?! — сверкнув глазами, крикнул Бундзяк Вацебе.

— Пане Бундзяк, я не могу... Это ведь ребенок... — Вацеба задрожал.

— Не можешь? Тогда и твоя макитра слетит! — У Бундзяка отвисла и перекосилась нижняя челюсть, и он нагнулся за топором. Но тут же, как ужаленный, отпрянул от скамьи. — Это что?

Во дворе ударил выстрел. Неподалеку по обнаженному стволу дерева скользнуло синее лезвие фонаря. У окна заверещал перепуганный голос одного из бандитов:

— Пане отаман! Милиция! Милиция!

Бундзяк, оглянувшись, заметался по хате, подскочил к противоположной стене, высадил ударом автомата раму и боком вывалился в огород.

— Калина, Калинка! — Ксения подползла на коленях к девочке.

— Мамочка... — проговорила та, раскрывая глаза.

— Ксения Петровна, вы живы?

В хату вбегают Борис Дубенко и Богдан Гомин. Убедившись, что бандитов здесь нет, они выскакивают на улицу.

— Успели! — кричит, переступая порог, Микола Сенчук и, отирая вспотевший лоб, облегченно вздыхает. — Калинка, дитятко мое!

Он приласкал девочку, и она, склонив голову, попросила:

— Микола Панасович, возьмите меня на руки.

Мужчина и женщина переглянулись, подумали об одном, вздохнули.

Сенчук бережно, как своего Марка, взял девочку на руки, а Ксения Петровна отвернулась, чтобы скрыть женскую печаль.

Калина незаметно уснула на руках у Сенчука, но он все не решался отнести ее на кровать.

На улице по мерзлой земле гулко зазвучали шаги, отчетливо донеслись слова Бориса Дубенка:

— Стрельнул я в Бундзяка, а он в меня... Пули, должно быть, ударились одна о другую и разлетелись в разные стороны. Бывает...

За окном раздался смех. Наконец все затихло.

— Ксения! — окликнул Сенчук.

Она выпрямилась, молча подошла к нему.

— Что, Микола, взять Калинку?

— Пускай спит, раз не поспала на отцовских коленях... А у меня и до сих пор перед глазами твой Юра. Как он за тот проклятый океан отправлялся... Знаешь, Ксения, о чем я хочу с тобой поговорить? — Он поднялся, следя за каждым движением ее грустного лица.

— Знаю, Микола, — ответила она, глядя на него открытым взором. — Я еще у русских братьев думала об этом. А когда увидела людей и Леся возле памятника... с тех пор не разлучаюсь со своей мечтой. Только что ж делать, малограмотна я, темна...

— Не говори, Ксения, не говори так. Ты, может, яснее видишь, чем другой образованный. Сердце у тебя чистое...

— Спасибо, Микола... Иди уже, дорогой, домой, хочу одна собраться с мыслями.

И когда за Сенчуком, поскрипывая, затворилась дверь, когда затихли во дворе его шаги, к Ксене стали сходитьсь прожитые годы. Трудные они были, узловатые, как натруженные батрацкие руки. Всю жизнь она выращивала для кого-то хлеб, а сама сидела голодная. Но и в этой жизни уместились короткие вечера любви, и минуты материнской радости, и надежды... Надежды... Теперь их было много, как никогда, они оттесняли скорбь пережитого, и верилось, что придет все то, что еще недавно казалось подкошенным прожитыми годами.

Взволнованная, она подошла к Калине, поцеловала ее в порозовевшие от сна щеки. Дочка проснулась, и мать стала помогать ей одеваться.

— Куда мы пойдем, мамочка?

— К Михайлу Гнатовичу.

— К дяде Михайлу?

— К нему. Боюсь оставлять тебя дома одну.

— И я боюсь.

Ксения накинула на плечи дочке платок и вышла во двор.

Уходила ночь, в темноте шуршал снег, и поскрипывали подмороженные деревья. Метелица успела уже заровнять все дороги, но идти было так хорошо, словно поля покрылись не снегом, а прекраснейшими цветами на земле.

Вот уже завиднелись очертания города, вот и знакомые улицы, ведущие к райкому.

Она постучала в дверь, но стук собственного сердца не дал ей расслышать ответ. Михайло Гнатович вышел из-за стола навстречу Ксене Дзвиняч. Она вся в снегу.

— Доброго здоровья, Ксения Петровна! Раненько вы.

— Дорогу замело. Снегами шли. Напрямик.

— Напрямик лучше, — Чернега едва заметно улыбнулся.

Женщина скорее чувством, чем разумом, постигла, что хотел сказать Чернега.

— Идешь, а за тобой глубокие следы.

— Глубокие? Это хорошо, когда глубокие. Садитесь, Ксения Петровна.

— Не могу, Михайло Гнатович, — она, волнуясь, спускает платок на плечи. — У меня такое дело, что не смею сидя говорить. Вы знаете меня, верите мне?

— Знаю, верю, Ксения Петровна.

— Так могу я через вас попросить, чтоб меня приняли в партию?..

* * *

Через несколько дней вечером заседало правление колхоза. Над столом склонились знакомые лица Миколы Сенчука, Ксении Дзвиняч, Юрия Заринчука, Леся Побережника, Марьяна Букачука. Но как изменились эти лица! Можно было бы сказать — помолодели гуцулы! И в этом была бы доля правды. Но не в этом суть казалось бы простейшей, будничной картины. Село вручило этим людям свои чаяния и надежды, не совсем еще отсеянные от половы недоверия и осторожности. Таким, не совсем очищенным, получают они завтра от односельчан посевное зерно, которое не могло налиться певучей золотой силой на тоскливых единоличных нивках. Сеятелям еще предстоит повозиться с ним. И вот вы видите этих сеятелей в заботах о самом земном и самом поэтичном, в светлой задумчивости, доступной лишь настоящим людям на пороге счастья. Словом, впервые заседает правление колхоза.

— Газеты пишут, весна не за горами. А мы, гуцулы, понимаем это так, что наша весна уже за горами, значит возле нас. И солнце вот-вот начнет уже вскрывать гуцульские ручейки, освобождать землю от снега. Стало быть, надо завтра ехать в МТС, — озабоченно говорит Микола Сенчук.

— И верно, завтра, — поддерживает Ксения Дзвиняч. — Ведь в колхозе первые вестники весны — трактор и жаворонок..

— Все семена обменяем на сортовые, — поднимается Нестеренко. — В нашу почву не должно лечь ни одно зерно с сомнительной биографией. Минеральные удобрения тоже начнем вывозить сейчас же. А главное — вводить в быт агрономическую науку...

— Сеять — скоро, а строиться — сегодня! — волнуется Марьян Букачук. — Хлева для скотины надо заложить на высоком месте, где с пригорков ключи бьют, а сырости нет, и чтобы до пастбища было недалеко. Я думаю, выберем место за болотом возле Довбушева дуба...

— А болото затопим водой, чтоб полно было рыбы, — оживился Юрий Заринчук.

— Так вы хотите быть старшим над пчелами и водою? — тихо спросил Лесь Побережник.

— Известно, старшим! — упрямо кивнул головой Заринчук. — Я всю жизнь был всех младше!

* * *

— Прежде ты умнее был... — причитает Василина, едва поспевая за Юстином, который ведет в поводу свою лошадку.

— А ты, думаешь, поумнела под старость?

— Юстин, ведь бог есть, побойся хоть его!

— И языка твоего?

— Не отдавай ее, Юстин, не полосуй мне грудь, не жги ты меня живьем!..

— Вот я тебя ожгу!.. — Юстин взмахнул рукой, и плетеный кнут свистнул в морозном воздухе.

— Ой, убивают! — Василина бросилась к забору, оставляя поперек улицы цепочку глубоких следов.

— Я ей грудь полосую, а что у меня у самого вся грудь в мелкие клочья разрывается, того не видит глупая женщина, — бормочет Юстин. — Будь у нее голова на плечах, не каркала бы, как ворона к оттепели.

— Как дела? — здоровается Савва Сайнюк, тоже ведя за повод низкорослую гуцульскую клячу.

— Спасибо, ничего. Как здоровье, Савва?

— И не спрашивай, Юстин. Сам не знаю, лошаденку ли веду сдавать или остатки здоровья своего. Сердце из груди вот-вот на снег выскочит. Одна только отрада — Мариечка моя. Примется говорить, утешать — ну и становится легче, как от докторской припарки.

— Попадись вам такая припарка, как моя Василина, выпарила бы до последней косточки... Поглядите-ка, Савва, сколько народу на площади. И все разодеты, как на великий праздник. А может, и впрямь праздник у нас начинается?

— Юстин... — Василина догнала мужа и умоляюще посмотрела на него.

— Что, Василинка? — У Юстина только в голосе прозвучала нотка доброты, а глаза остались суровыми. — Вместе пойдем? Видишь, Савва старше меня на целых три года, а с легким сердцем отдает свою кобылу в колхоз.

— А чего горевать! — заступился Савва за Юстина и, отвернувшись, вздохнул...

Над площадью повис широкий разноголосый говор людей и рев скотины. Лесь Побережник подводит к зоотехнику и заведующему фермой своего рослого норовистого бычка.

— Бычок не машина, — прыскает кто-то в толпе, и по площади раскатывается смех.

— А что ж, известно, не машина! — Лесь горделиво расправляет плечи. — А только увидите — через год этот бычок и неисправную машину сможет выручить из беды. Крепкий, породистый! И голос у него кавалерский, и повадки кавалерские! Пусть растет как из воды!

Юрий Заринчук привез на возу ульи.

— Крупного скота я, люди добрые, не нажил, так пусть эта мелкая скотинка разводится на сладость нам да на счастье.

— Юра, забирайте обратно свою скотину. Мы ее не обобществляем! — приказывает Микола Сенчук. — Вы же сами знаете.

— Ну, не хотите обобществлять, запишите так. Я, может, всю жизнь дождался такого праздника, когда все люди смогут есть мед. Не надо портить мне праздник.

— Юра, не говорите лишнего! — сердится Сенчук.

— Микола Панасович, — с удивлением говорит Галибей, — зачем же огорчать человека? Да и ульи нам пригодятся, — и он подмигнул секретарю, чтобы тот записал привезенное Заринчуком.

К Сенчуку подобрался, ведя в поводу свою клячонку, опечаленный Рымарь.

— Микола, сдаю тебе свою первую в жизни лошадку. Даже ни разу не запряг ее для себя — жеребая она. Да и не во что было запрягать — на телегу деньгами не разжился, — обращается к Сенчуку, и на глазах у него блестят слезы. — Ты побереги ее, Микола, и не пой холодной водой, горло у нее нежное, как у артистки.

— Ой, нежное, деликатное! — со слезами в голосе добавила Василина.

Юстин махнул рукой и поспешил замешаться в толпу.

— Отец, а кнут? — остановил его оклик сына — молодого конюха.

— Кнут не отдам, сынок! Ей-богу, не отдам! — обернувшись, бросил Рымарь.

— Да на что же он вам? — удивился сын.

— Повешу на гвоздик, — пусть люди знают, что и у Юстина Рымаря была за долгий век своя лошаденка... Микола, а может, ты поставишь меня приглядывать за моей

гнедой? — вдруг с надеждой обратился Рымарь к Сенчуку. — Волосинка у ней из шерсти не выпадет.

— Дядько Юстин, — озабоченно отвечает председатель, — вы все о своем да о своем. Когда уж я от вас о государственном услышу?

— О государственном? И о государственном услышишь. Не обо всем сразу, надо порядок знать, — пятась от Сенчука, бормочет Рымарь.

— А я о чем говорю? Порядка и жду! — смеется Сенчук.

По-праздничному одетые гуцулы сдают свой незатейливый инвентарь, зерно, скот. Группка мужчин поудобнее расположилась на снегу и, пересмеиваясь, выпивает.

— За общие поля и сады!

— За новые труды!

— За то, чтобы не видать больше старой нужды!

— Тетка Василина, не лейте слезы дождем, а то у нас от сырости водка скиснет. Налить чарочку?

— Налейте. Выпью за здоровье своей лошадушки, Юстин уже сдал ее колхозу.

— Чтоб повыше взбрыкивала!

— За ваше здоровье и за здоровье скотинки моей!

Смех, укоры, слова надежды — все смешалось в единый неповторимый шум...

— А он и говорит, что я все только о своем да о своем, а о государственном ни гу-гу, — рассказывает Юстин Рымарь Юрию Заринчуку.

— А вы потолкуйте о государственном, — умные глаза Юрия Заринчука смеются.

— Отчего ж не потолковать, было бы умение! Юра, может, пособишь? Ты ведь уже и с трибуны речь держал, а там о своем не скажешь.

— Уход за конским поголовьем — тоже государственное дело. Понимаете? — объясняет Заринчук.

— Понимаю! — Рымарь кивает головой и скрывается в толпе, раздумывая, как бы половчее потолковать с председателем.

* * *

К Миколу Сенчуку, зоотехнику и заведующему фермой, осторожно пробирается Марьян Букачук. Под его просторным тулупом что-то шевелится, барахтается, а лицо векового пастуха озарено добродушной улыбкой.

— Марьян, уж не мотор ли заведен в твоём тулупе?

— Целых два, — кивает головою Букачук и обращается к Миколу: — Не было у меня за весь век ни конька, ни бычка, а с пустыми руками не хочу идти в колхоз. Примите от меня хоть эту вот скотинку, — он раскрыл полы тулупа, и на людей посмотрели две любопытные мордочки ягнят. — Это у меня самые лучшие, породистые.

— Так мы же овец не обобществляем.

— Знаю, Микола, да у меня на овец легкая рука. А сейчас — полегчать ей во сто крат, чтобы у нас хорошее не переводилось!

— Ну, что мне с вами делать?

— Принимай, Микола, — гневается Букачук, — а то Михайлу Гнатовичу пожалуюсь. Подумай, тут дело не в овцах, а в гордости человеческой.

— Непременно принимайте, Микола Панасович. Нам надо делать то, что хотят люди. В этом суть новой, колхозной жизни, — громко говорит Галибей, и несколько гуцулов кивками подтверждают его слова.

— Вот это государственный разговор, — Юстин Рымарь даже подымает руку при этих словах, затем озирается по сторонам и несмело подходит к Сенчуку. — Микола, у меня к тебе... государственный разговор.

— Давно бы так! — весело откликается Сенчук. — Говорите.

— Уход за конским поголовьем — государственное дело? — гордо спрашивает

Рымарь.

— Государственное!

— И я так думаю! — говорит Рымарь и вдруг, понизив голос, добавляет: — Так что назначь меня, Микола, ухаживать за моей лошадкой.

Сенчук опешил, а Рымарь сразу догадался, что его государственный разговор в чем-то хромает, и поспешил выправиться, пока еще председатель не ответил.

— Только это не все, Микола. Мне бы хотелось не за одной лошадкой приглядывать, а, скажем, за десятком. Одна лошадка — это ведь еще не поголовье, а у нас же о поголовье речь.

— Так вы желаете стать конюхом? — пытается Сенчук уловить внезапную перемену направления мысли Рымаря.

— А как же! И увидишь, Микола, какое у нас будет поголовье! Тебе ведь невдомек — у меня душа весь век по скотине тосковала, да так и сохлась без нее, как ремни на постолах.

— С сегодняшнего дня, Юстин Андриевич, назначаю вас конюхом. Желаю вам больших успехов. Чтоб в газетах гремело ваше имя.

— Ну, имя загремит или нет — это неизвестно, а уж кони загремят! Ого-го-го! — и Рымарь взмахнул кнутом. — Спасибо, Микола, за государственный разговор! Уважил старика. Такое сказал, словно на четверню коней посадил меня!

* * *

— Значит, понравился старику государственный разговор? — смеясь, спрашивает Чернега, шагая с Миколой Сенчуком в конюшню.

— Понравился. А молодые конюхи и сын Рымаря прямо пищат — не дает им старик ни в чем спуску. Пищат, а слушаются, — так уж у гуцулов заведено, пускай дед говорит даже и не совсем то, что надо, все равно послушают.

— Микола Панасович, а не лучше ли, чтоб деды говорили совсем то, что надо?

— Так, может, созвать общее собрание дедов?

— Ну вот, сразу — собрание, да еще и общее! Лучше так, запросто, поговорить. Кое-что они нам подскажут, а кое-что и мы им.

— Выходит, созвать совещание дедов?

— Да не совещание созвать, а дедов, — поправляет Чернега. — Микола Панасович, сколько мы вас предупреждали насчет разных заскоков, а ты таких глупостей натворил!.. Удивляюсь и не могу тебе простить...

— Что ж я наделал? — растерялся Сенчук.

— Зачем ты обобществил ягнят Букачука и улы Заринчука?

— Я не хотел записывать.

— Однако записал?

— Записал, но как подарок, потому что Марьян сказал, что к вам пойдет жаловаться, если я человеческую гордость не ценю. И с Юрой до ссоры дошло. И верно он говорил, что не было у него за всю жизнь крупного скота, вот и дает на новую жизнь улы. Как примету на счастье.

— А теперь на твоё несчастье посыпались про тебя анонимки и в райком, и в редакцию, и в прокуратуру.

Сенчук вспыхнул:

— Это нечестный человек писал!

— И мы так думаем. Честный человек писал бы в одно место и, верно, не постыдился бы поставить свою фамилию... Хорошо, я поговорю сегодня и с Марьяном и с Юрой. А ты больше таких вещей не делай, а то, сам видишь, за нами следят не одни только друзья. Гляди, придется еще побеседовать и с прокурором.

— Моя совесть, Михайло Гнатович, чиста, — Сенчук посмотрел прямо в глаза секретарю райкома, — я людям добра желаю и об этом буду с кем хотите весь век говорить,

а еще больше — делать.

— Заговорила гуцульская кровь, — любуясь Сенчуком. Чернега улыбнулся.

А Микола тотчас смутился.

— Я, Михайло Гнатович, пойду к старикам, а то пока им растолкуешь, что к чему, вечер настанет.

Старики стали собираться в сумерки, а беседа с ними оживилась только поздним вечером.

Но вот разговор с дедами в самом разгаре, и глаза у Михайла Гнатовича весело поблескивают, следя за выражением каждого лица. Хорошо, что старики уже отложили в сторону дипломатию и заговорили, не скрывая ни надежд, ни опасений, ни сомнений.

— А верно говорит товарищ секретарь. Надо, чтобы не работа ждала людей, а люди встречали бы ее, как невесту. Только тогда выйдет толк, — начинает свое первое в жизни выступление Юстин Рымарь. — Я в конюшне заведу порядок по инструкции: чтобы и уход был, и прирост, и приплод справный.

— Много хорошего сказал товарищ секретарь, только к нам такое житье не заглянет, — с безнадежным видом, выпячивая сухие губы, говорит Савва Сайнюк, — бедная у нас земля, и сами мы бедняки.

— Маленький человек не о золотых горах, о куске хлеба заботится.

— А кто вам сказал, дядя Савва, что вы маленький человек?

— Да разве, Михайло Гнатович, не маленький? Бедный, старый... Хоть вы-то не смейтесь надо мной.

— Я не смеюсь, я сержусь на вас.

— На меня? Побойтесь бога, Михайло Гнатович, за что ж вам на старика сердиться?

— За то, что вы себя маленьким да стареньким выставляете. Лауреат Сталинской премии Марко Озерный тоже стар. А вот взял да и перегнал по урожайности кукурузы всю Америку. Бабка Олена Хобта тоже немало прожила на этом свете, а Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета.

— Да за что ж старухе такой почет?

— За честный труд на колхозной земле.

— Так она, выходит, не такое уж большое начальство?

— Не такое уж большое. Звеньевая.

— Как моя Мариечка? — обрадовался старик. — Не сердитесь на меня, Михайло Гнатович. Может, я и никаким начальником не стану, а работать буду как следует.

— Зарубим себе на носу: может, сперва будет и трудно, но работать нужно так, чтобы поскорей к достатку пробиться. Правду я говорю? — дед Стецюк обводит всех взглядом. — Нельзя нам откладывать это дело на долгие годы, мне еще самому хочется пожить зажиточно, а теперь у нас для этого все в руках и в голове. На горах с солнечной стороны, думаю, слива вырастет и другие деревья, а также табак.

— Еще хочу сказать насчет строительства, — гнет свое Марьян Букачук. — А что, дед Савва знает, как кирпич обжигать?

— Как не знать! — повеселев, откликается старый Сайнюк. — Обожгу, как колокол! Микола, так, может, ты меня определишь не таким уж большим начальством на строительство нашего кирпичного завода? Такой построим, что и соседи удивятся.

— Вы, дедушка, уж стары, — лукаво вздыхает Микола Сенчук.

— А ты чего меня метрикой стращаешь? Я же не свататься иду. Или не слушал, что Михайло Гнатович рассказывал? — И, обращаясь уже к старикам, добавил: — Молодые никогда не слушают людей с таким почтеньем, как мы, старики.

— Еще хочу оказать про овец, — не унимается Марьян.

— Овцы могут и подождать, овцу, как ни крути, она овцой и останется, — осмелев, перебывает Юстин Рымарь. — Лучше о лошадях поговорим.

— Можно и про овец, — поддерживает Букачука Чернега. — Это государственный разговор.

— Государственный, — тогда пожалуйста, товарищ секретарь.

— Вы сами знаете, как гуцул любит овец. Об этом даже в песне поется. Так, кажется: «Как гуцула не любить? У гуцула овцы...»

— Так, так... — закивали седыми головами старики.

— И, верно, недаром слагались здесь, в Карпатах, такие песни: сами знаете, как мало у гуцула пахотной земли и какие богатые у него пастбища. Одни полонины чего стоят! И надо, чтобы наши половины от края до края пестрели овцами, да не простыми, а породистыми, чтобы и брынза в кадушках не переводилась и шерсть всех цветов расцвятилась повсюду. Овцеводство, животноводство должно, я думаю, стать основой хозяйства для большинства гуцульских колхозов.

— Вот это я и хотел сказать, — гордо проговорил Марьян Букачук.

Старики расходились поздно вечером.

— Вот поди ж ты, — обращается дед Савва Сайнюк к Чернеге, — сколько прожил, а не знал, что сахарная свекла такое капризное растение: на день позже посеешь — на десять центнеров меньше урожай соберешь. Я про это Мариечке расскажу. Снежок пошел — это к урожаю, Михайло Гнатович.

К Сенчуку подошел запыхавшийся Побережник.

— Микола, насилу разыскал тебя... Дело у меня к тебе.

— Важное?

— А то стал бы я тебя разыскивать вдоль и поперек села! Микола, согласился я стать бригадиром, хотя и думал быть только звеньевым по сахарной свекле.

— Ну, согласились.

— Так согласись теперь изменить мне состав бригады.

— Зачем?

— Чтобы авторитет бригадира рос, чтобы не подрывали его разные несознательные родичи.

— Кто же подрывает вам авторитет?

— Член моей бригады Олена Побережник.

— Собственная жена?

— Она. Переведи ее в другую бригаду. Я не хочу, чтобы в моей было два бригадира, да один еще постарше меня.

— Что же, придется перевести, — усмехнулся Сенчук.

— Если это организационно укрепит бригаду Леся Побережника, — тихо добавил сзади Чернега.

— Так вы слышали? — растерялся Побережник. — Без моей жены бригада окрепнет и организационно и всяко. Это я вам говорю. Только надо так перевести ее, чтобы на меня никакая тень не упала, а то хоть из дому беги... Ишь, как метет. Это к новому урожаю.

* * *

На Черногоре, приноровляясь к прихотливым очертаниям гор, колышется метель, и сквозь ее подвижные хребты пробивается песня:

За окном черемуха колышется,
Распуская лепестки свои.
За рекой веселый толос слышится,
И поют всю ночь соловьи.

Это поют на своих полях гуцулки, впервые преграждая щитами путь шумливой метели.

— Ксения Петровна! Вы уже закончили? — кричит вся в снегу Мариечка.

— Кончаю, Мариечка! Поворачиваю щиты по течению Черемоша.

— Зачем?

— У нас изменилось направление ветра! А как у вас? — весело кричит Дзвиняч, с трудом разлепляя запорошенные снегом ресницы.

— Вроде и у нас начинает меняться! Настечка, Катерина, давайте повернем щиты, а то Ксения Петровна перегнала нас.

— Так за то мы ее по дороге в школу перегоним, — отвечает Катерина, рывком поворачивая щит. — Поскорей, девчата, чтобы нас сам товарищ агроном похвалил.

— Катерина, что больно часто самого товарища агронома поминаешь? — прищурясь, спрашивает Настечка.

— С вами часто, а одна остаюсь — еще чаще! — от всей души выпалила Катерина, не заметив за метелью, что Нестеренко стоит совсем близко от нее.

— Ой, девушка! — покачала головой Настя.

— Настечка! — целуя подругу, взмолилась Катерина. — Чем же я виновата, что тебе нравится стахановец Микитей, а мне — агроном Нестеренко, хоть я и не скажу ему об этом до самой смерти! Трудно, Настечка, ученых любить... Ну что, бежим в школу?

И она вдруг запела:

Ой, подружки дорогие,
В клуб на вечер побежим!
Говорят, награды будут
Нашим славным звеньевым!

— Ой, девушки, если бы я получила награду...

— Что бы ты тогда сделала? — спрашивает Настечка.

— Что? Весь свет перецеловала бы и проплясала бы от Гринявки до самой столицы. Вот так! Вот так! — И она закружилась, отдаляясь от подруг. — Ой, девчата, остановите меня, а то я сама не остановлюсь! — кричала она, кружась все быстрее.

— А если я остановлю? — спросил Нестеренко, взяв ее за руку.

— Ой! — Катерина испуганно притихла. — Это вы?

— Как будто я! — Нестеренко покосился на себя. — Целуй же меня, ты ведь весь свет хотела расцеловать?

— Так это, товарищ агроном, когда я получу награду.

— Предсказываю тебе: получишь!

— Правда?

— Правда! Так что целуй... авансом!

— А аванс выдается после уборки. Это же все агрономы знают! — Катерина покраснела, засмеялась, кинулась к девушкам.

Метнув взор на подруг и уверившись, что они ничего не заметили, она облегченно перевела дух.

— Так что, девчата, бежим в школу?

— А урок выучила?

— Она уже всю книгу на память и без памяти знает: ведь сельскохозяйственной науке обучает сам товарищ агроном Нестеренко, — объясняет Настечка под смех подруг.

— Каков учитель, таковы и ученики, — отвечает Катерина и тоже смеется.

И вот гуцулки сидят в классе за партами. Перед ними раскрытые тетради, книги. На стенах плакаты по агротехнике, на столе пучки колосьев, кукурузные початки.

— Григорий Иванович, как же мне брать высокое обязательство?! — пожимая плечами, говорит Олена Побережник. — Откуда я знаю, какая придет весна или лето? А вдруг дождей не будет? А вдруг червяк нападет на кукурузу, да и съест все до последнего корешка?

— Ну, к чему, Олена, в добрый час о дурном вспоминать? Да пропади оно совсем! — поправляет Олену с соседней парты Ксения Дзвиняч.

— А что мне, жалко его, что ли? Пусть себе пропадает, а только твердое слово я наперед не дам — не могу.

— Вы еще подумайте, Олена Романовна. А у вас какое обязательство по кукурузе, Катерина Юстиновна?

Девушка зарделась и доверчиво, с глубоким волнением посмотрела на агронома.

— Если плохая погода, то тридцать; если получше, то сорок; если хорошая — пятьдесят. А какая будет погода, Григорий Иванович?

— Хорошая, Катерина Юстиновна.

— Записывайте, Григорий Иванович, шестьдесят, как и Ксении Петровне.

— Ты, девчонка, спятила? — не выдержала Олена. — Кто ж наперед угадает, какая будет погода? Что, Григорий-то Иванович с богом на одном облаке сидел?

— Так, по-вашему, Григорий Иванович так себе, зря проходил в институте высокие науки? Такое говорите про товарища агронома — это просто... ой, ну, до того не то, что прямо ох!

— Ну, Григорий Иванович, хоть и не верю, что может столько уродиться на гуцульском поле, вклейте там и мне целых двадцать и пять! — в сердцах выпалила Олена Побережник. — Не видать мне теперь покоя все лето!..

Гуцулки выходят из класса. К Дзвиняч, размахивая конвертом, подбежала дочка.

— Мамочка, вам письмо!

— От кого, Калинка?

— Угадайте!.. От Марии Васильевны, из России.

— Не забыла Мария Васильевна! — Ксения прижала письмо к груди.

— Прочитайте, мамочка, а то я больше выдержать не могу.

— Девушки, завтра — не забудьте — золу собираем, — обращается Дзвиняч к своему звену.

— Не забудем, Ксения Петровна. Еще до завтрака заедем за вами.

Девушки с разговорами и песнями расходятся по голубым улицам села. Ксения Дзвиняч, обняв дочку, медленно идет домой, и сменяющиеся мысли меняют по-девичьи непосредственное выражение лица ее.

По дороге, почему-то часто оглядываясь, шагают Настечка и Катерина.

От поникшей, занесенной снегом вербы отделился Иван Микитей.

— Настечка!

Девушка остановилась.

— Это ты, Иван?

— Кто же еще может так усердно подпирать дерево! — удивляется Катерина. — Не будь твоего Ивана, оно давно уж упало бы на дорогу.

— Надо же, Катеринка, следить за озеленением села. О том и агрономы говорят, — добродушно улыбается Иван, не сводя глаз со своей любушки.

— Я, пожалуй, отстану от вас! — Катерина стала как вкопанная посреди улицы.

Иван и Настечка пошли вперед, а Катерина оглянулась, вздохнула, потом прошла было еще несколько шагов и снова оглянулась. Но нигде не видно знакомой фигуры. Только из боковой улочки выходят Лесь и Олена Побережники. Катеринка прижалась к придорожному осокору, и ей слышно каждое слово Олены.

— Упиралась, упиралась я, а эта дерзкая девчонка, которая с товарища агронома глаз не спускает, возьми да и запишись на шестьдесят, — ну, тут уж я не выдержала: «Вклейте, говорю, мне целых двадцать и пять, хоть и не верю, чтобы столько у нас уродилось...» Что ж ты на это скажешь?

— Скажу, что ты, Олена, настоящий элемент! — отрезал Лесь. — Тебе не звеньевой быть, а пугалом, да и то для одних желторотых воробьев!

Грянь посреди зимней улицы гром, он не так поразил бы Олену, как слова мужа. Она широко раскрыла рот, — но что будешь делать, когда у нее язык отнялся!

* * *

Сквозь белый яблоневый цвет облаков проглянул месяц, и оробевшие тени, рассеиваясь, унеслись вдаль. Вокруг замерцали бесчисленные искристые озера слежавшегося снега, над обледенелыми горами тихо покачиваются густые ветви созвездий.

Улица, по которой идет Василь Букачук, так живописна, что он не может не запеть:

Свети, свети, месяц,
Свети, ясная звезда,
Освещай дороженьку
На тот край села.

И ему освещают дороженьку и месяц и ясная звезда.

— А на наших лесорубов ни днем, ни ночью угомону нет! — приветствует его Катерина, выходя из переулка.

— Ни днем, ни ночью! — соглашается Василь. — А ты, Катеринка, тоже себе угомону ищешь или уже от него домой бежишь?

— Сам угомонись! — с сердцем ответила девушка и оглянулась.

— Рад бы! — засмеялся парень. — Желая тебе угомона молодого да чернобрового.

Свети, свети, месяц,
Свети, ясная звезда,
Освещай дороженьку
На тот край села.

Вот и край села. И уже выбегает навстречу Мариечка. Тени лунной ночи не в силах скрыть ее волнение и улыбку.

— Мариечка!

— Василь!

— Ждала?

— Нет, не ждала, — Мариечка надула губы.

— Почему?

— Не нужен ты мне такой... такой противный!

— Неужто подурнел? Мать не нахвалится мною, а ты...

— Не верю, не верю. Сам ты собой не нахвалишься... Что так долго не приходил?

— Как же, не приходил! Ты вот лучше скажи: почему не ты, а дед Савва попал ко мне в объятья?

— Опять? — смеется Мариечка.

— Опять, — вздыхает Василь.

— И опять про жизнь разговаривали?

— Про жизнь. Сам уже кирпичный завод строит, а все поет: как это его морги перейдут в колхоз? Где он теперь? Дома?

— В колхозе, не дает Сенчуку покоя. Каждый день отколупывает над Черемошем глину, разогревает ее в хате, а потом несет в правление с таким видом, точно у него клад в руках. Уже и техников убедил, что из такой глины кирпич будет звонкий, как колокол. Поздно приходит.

— Вот это хорошо, а то когда к тебе ни заглянешь, а уж дед тут как тут — въезжает в любовь со своими моргами. Что он, молодым не был, что ли?

— Когда-нибудь, Василько, и ты станешь таким.

— Я? Да никогда! И довольно про деда Савву, поговорим про наше. Так не высматривала меня?

— Да нет, немножко, немножко, одним глазком.

— Только немножко?

— Немножко и чуть побольше.

— А я тебя и во сне видел... — Он привлек девушку к себе, и они, прижавшись друг к другу, уселись на перелазе, продолжать ту вечернюю беседу, которую молодым никак не удастся закончить. — Мариечка, любишь?

— Немножечко.

— Только немножечко?

— Немножечко и чуть побольше...

И всегда кто-нибудь да найдется, чтобы перебить разговор на самом интересном месте. Незаметно подошел дед Савва с мешком в руке.

— Василь, это ты?

— Я, дедушка... Добрый вечер, — и Василь так невинно опускает руки, точно и не дотрагивался до девичьего стана.

— Вот хорошо, что пришел. Пойдем в хату, про жизнь поговорим.

— Да мы и тут с Мариечкой про жизнь говорим.

— Ты с Мариечкой — про жизнь? — недоверчиво хмыкнул старик.

— А как же! — убеждает деда Василь. — Мариечка рассказывала, как она будет бороться за высокий урожай, а я о своей работе...

— Вот об этом и расскажете мне в хате, а то здесь языки отмерзнут.

— Они у нас горячими слонами греются, — проговорил Василь и безо всякого энтузиазма пошел за стариком в хату.

«Снова дедовы морги погубят нам весь вечер. Скорей бы весна!»

— Так где тебе, Мариечка, землю выделили? — уже в хате спрашивает дед Савва.

— Возле Черемоша, у озера.

— У озера? Ты что, девка, смеешься?

— Самую черствую землю дали. Там и поганки не растут? — возмутился и Василь.

— Да ведь кустилась же там рожь!.. А мы на всей делянке по колено навалим гумуса из озера.

— Этот сухарь хоть маслом намажь — не поможет.

— Еще как поможет!

— Тебя надувают, как маленькую, а ты не видишь, да еще и мне не веришь.

Мариечка ласково посмотрела на парня.

— Верю, да не во всем.

— Так, выходит, нет мне в этом доме доверия? Ну, так будьте здоровы, — и Василь хватается за шапку.

Но тут обеспокоенно отзывается дед Савва:

— Василько, а когда же про жизнь поговорим?

— Разве что про жизнь! — и Василь швыряет шапку на лавку.

— И сколько ты взялась вырастить центнеров?

— Восемьдесят! — смущенно говорит девушка.

— Что?! — вырывается испуганный крик одновременно и у старика и у молодого.

— Восемьдесят центнеров, — повторила Мариечка еще более смущенно.

— Ты что, девка, разум в этом озере утопила или тебя дурь одолевает? — возмутился дед.

— Это, может, вас она одолевает, — обиделась Мариечка.

— Как ты говоришь с дедом, дерзкая девчонка! Хочешь, чтоб я тебя воловодом поучил? Я ведь не поленюсь сходить за ним в сени.

— Мариечка, опомнись! — едва не застонал Василь. — Где это видано, где слыхано, чтоб гуцульская земля уродила восемьдесят? Да еще если б земля, а то такая заваль, что и семян не вернет.

— А агроном говорит другое.

— Ему за это деньги платят, — с сердцем отрубил Василь. — На крайний случай возьми хоть поменьше задание, чтоб меньше было сраму. А уродится больше — пускай себе, на здоровье.

— Не будь, Василько, таким осторожным консерватором, — улыбнулась девушка, а парень рассердился:

— Это я осторожный консерватор? Теперь я хорошо вижу, как ты меня любишь. «Немножечко, немножечко»! — передразнил он Мариечку. — И немножечко-то не было.

— Василь, как тебе не стыдно!

— Ты скажи, как тебе не стыдно! Я тебе добра желаю. Подумать только! На такой земле — восемьдесят! Люди по двадцать лет трудятся на черноземе...

— Ты что ж, хочешь, чтоб я двадцать лет, до седых волос, ждала высокого урожая? И слушать не хочу такие пустые слова!

— Не хочешь слушать мои — слушай чужие! — И он сердито вышел из хаты.

Девушка бросилась за ним.

— Василько!

— А на что я тебе, раз у меня пустые слова?

— Так это ж только про землю у озера, а другие все золотые.

— Золотые? — Василь остановился посреди двора.

— Еще дороже.

— Так смотри, и не поминай мне об этом озере проклятом. Ох, нелегкая подходит весна! — И он стремительно подошел к девушке.

* * *

На Гуцульщине весна не в одночасье отбирает ключи у зимы. Еще Черногора просеивает последнюю муку, а леса уже окутываются лиловым маревом и тени деревьев на снегу синеют, как подкрашенные. На южных горных склонах колышутся тончайшие кружева, сотканы они на солнечных пяльцах из мягкого золотистого снега, скреплены легким морозцем, а окрашивают их вечерние да утренние зори. В эту пору в верховьях Черемоша гремят выстрелы ледолома, а в низовьях шумит хмельная вода. Над буграми кудрявыми кустами поднимаются испарения, то приближая, то удаляя от глаз неясную линию горизонта.

На занесенном снегом гребне горы стоит, приложив руку к глазам, дед Степан. Вслушиваясь в робкое пение жаворонка, старик тихо мурлычет старинную песню.

На горах-то снег лежит,
А в долинах вода шумит.

— Дедушка, кого ждете? — окликают его подбежавшие стайкой правнучата.

— Весну, детки, высматриваю.

— А идет она?

— Уже в долины спускается, — старик смотрит вдаль, словно видит, как в долины шагает весна. — Еще день-два — и пойдем пахать. Хлеб сеять будем.

— Дедушка, — зовет старика внучка, молодая женщина с запеленатым ребенком на руках, — обедать идите.

— Обедать, говоришь? Да я, верно, не пойду.

— Почему же?

— Пойду в долину. Поговорить хочу с людьми, оттаявшую землю потрогать.

И он отправился в путь, спускаясь с горы на гору, все ближе к весне. С каждым шагом все теплее становилось старику, и теплело в горах, на левадах, в долинах.

Под вечер над лесом укладываются на покой белые табуны туч, но солнце не перестает отпирать своими светлыми ключами поля и воды. Весенний шум катится с самых Карпат, гудит и оплетает долины синими лентами ручейков, расцветивает луга озерами первоцвета, наполняет их чистым пением жаворонка.

Ко двору Сайнюка медленно подходит дед Степан.

У плетня, опершись на заворотницу²⁴, стоят Савва Сайнюк и Юстин Рымарь. С улицы с ними переговаривается Лесь Побережник.

— А похоже, что завтра и впрямь начнем пахать. Земля уже выгоняет из себя холод.

— А меня что-то все знобит да знобит, — вздыхает дед Савва.

— Уж не от моргов ли вас знобит? — хмыкает Лесь.

— Может, и от них. Так и стоят перед глазами.

— Стало быть, не раскрылись еще как следует глаза ваши? За тремя моргами не видят всей земли?

— Мало видят, туманятся...

— Пережиток! — отрезает Побережник.

— Что? Что?! — Сайнюк наставил измятое ухо и даже приложил к нему ладонь.

— Это такой хвост, по-книжному — пережиток не то капитализма, не то монархизма, скорей всего — монархизма, он еще от цесарской монархии тянется.

Рымарь глубокомысленно кивнул и спросил:

— Лесь, я вот часто на собраниях слышу, а все не пойму, что такое монархизм, а что капитализм. Ты теперь заглядываешь в книги, газеты получаешь из Москвы, из Киева. Может, растолкуешь?

— Отчего же! — Лесь задумался. — Как вам получше рассказать?.. И то падаль и другое падаль. Только одно постарше и уже в могиле лежит, а капитализм тоже, почитай, лежит, однако его еще не закидали землю. Понятно?

— Ясно! — твердо ответил Рымарь. — Пошли, Лесь, в конюшню! Перед севом не мешает еще раз проверить скотинку.

— Пошли. Там не Юра ли по воде шлепает? — Лесь приложил руку к глазам.

— И впрямь он!

В низину, где разлились три пруда, из горных ручьев прибывает вода. И сердце Юрия Заринчука радуется. Он, как журавль, высоко задирая ноги, бродит по трясине, направляя движение потоков.

— Юра, рыбка скоро будет? — окликают его женщины, хлопчущие на парниках.

— Не рано ли вас на рыбку потянуло? Погодите малость, будет и рыбка.

— По дороге рядом с телегой, нагруженной молодыми липами, степенно шагает Роман Петрашук. Заринчук глянул на подводу и не поверил своим глазам.

— Роман, что у тебя?

— Липы!

— Сам вижу, что липы. Куда везешь?

— Вам. Целый день копал. Хоть и ругали вы меня тогда, на собрании, как кнутом стегали. Говорите, где будем сажать. А то на моей голове не примутся и не зацветут.

— Спасибо, Романко! — растроганно проговорил Заринчук. — Ну стоит ли сердиться за старые слова, когда уже весна идет?

— И впрямь идет! Слышите?

И оба прислушались к едва различимому шуму тракторов.

* * *

У конюшни Рымарь играл с маленьким шаловливым жеребенком. Вдруг стригунок поднял уши, отпрянул назад.

— Не бойся, глупенький. Это тракторы, машины идут. На наши поля. — Старик всматривается туда, где на дорогу выезжают тракторы. Тонконогий жеребенок настороженно косится на них.

²⁴ Ворота на Гуцульщине состоят из двух столбов, в которых проделаны дыры; в дыры вставлено несколько перекладин — заворотниц. Когда нужно пройти или проехать, эти перекладки вынимаются. (Прим. переводчика.)

Посреди улицы трактористов с хлебом-солью встречает звено Ксени Дзвиняч.

— Спасибо за хлеб святой, — торжественно произносит тракторист Павло Гритчук. — Да взойдет наша дружба славным урожаем!

— Пусть по-новому, без единой слезинки, растет наш хлеб! — говорит, подавшись вперед, Ксения Дзвиняч.

* * *

На берегу Черемоша звено Марии Сайнюк рассыпает известь на приозерной низинке. Летит по ветру перемешанная с землей известь. И летит по ветру девичья песня:

Вьется лента Черемоша,
Вьется меж горами.
Позовем девчат хороших —
Запевайте с нами!

Подымай трембиту выше!
Путь гуцульский светел.
Нашу песню пусть услышат
На всем белом свете!

Пусть услышат, пусть узнают, —
Как же не узнать им?
Косов, Куты запевают,
Станислав, Делятин.

— Мариечка, а ведь и вправду — такая пора наступила, что все горы поют! — радостно говорит Катерника.

— И горы и долины.

— «Философия», — сказал бы Василь Букачук.

— «Посевная», — сказал бы товарищ агроном.

— Все посевная да посевная, и хоть бы словечко еще... — вздохнула Катерника.

— Не просил больше, чтоб поцеловала?

— Где там! Только напомнил, что после уборки ему следует аванс. И будет ждать до самой уборки. А какой он славный, Мариечка! Говорит самые обыкновенные слова, а кажется — рассказывает сказку о том, как вся земля уберется в цветы да в колосья. Такой у нас агроном, что просто ой, ну до того, что прямо ох!

— Уж прямо и «ой» и «ох»! — засмеялась Мариечка.

— А что ты думаешь? Так и есть! — Катерина вздохнула, но сразу же встрепенулась, лукаво огляделась и подмигнула подруге. — Я, чтоб больше уродилось, еще заговор скажу! — Она стала у озера, оглянулась на четыре стороны: и зашептала: — Кислоты, кислоты, ступайте в чащи, в болота, на стоячие воды, на гнилые колоды, где звери не бродят, где люди не ходят, где не растут всходы! Тьфу, тьфу, тьфу! Кислота провались, а нам золотая кукурузка уродись...

Катерина не заметила, как подошел Нестеренко и остановился, с любовью следя за каждым движением веселой непоседы.

— Ну, где соединились наука и заговор, там высокий урожай обеспечен!

— Ой, что вы, товарищ агроном! — девушка смутилась. — Не сердитесь. Наука у меня в сердце, а заговор на самом что ни на есть кончике языка, вот и срывается.

Закончив известкование, девушки пошли в село. Переходя через ручеек, Мария на мостках столкнулась лицом к лицу с Василем.

— «Когда повстречаются двое и, за руки взявшись, идут...» — запела Катерника и,

обращаясь уже к подругам, добавила: — Пойдемте, сестрички, скорее, а то ночи теперь короткие, а разговоры кое у кого длинные.

— И все научные, агрономические, — отрезал Василь. И тихо шепнул Мариечке: — А у меня и в самом деле разговор с тобой.

— Какой?

— Незаконченный. Мариечка, так любишь?

— Немножечко.

— Это я и зимой слышал, а ты что-нибудь весеннее скажи.

— Весеннее?

— Ну да, весеннее.

— Тогда слушай, Василько, — она прильнула к любимому. — Люблю тебя больше себя. Без тебя солнце не солнце, и звезды не так светят, и соловей поет не тем голосом. Потому что в душе у меня ты, твой голос. И его я слышу даже когда ты далеко от меня. Он будит меня среди ночи и на рассвете, и великая радость носить его с собой, как надежду. Так я хочу прожить всю жизнь, чтоб не обмануться в тебе, и ты чтоб не обманулся во мне. Я обыкновенная девушка, а чувствую, что становлюсь с тобою все лучше. Пусть всегда будет так.

— Мариечка... Ты необыкновенная... Ты лучше всех...

Неподалеку хлюпнула вода, прервав поцелуй влюбленных. Василь посмотрел в ту сторону и возмутился:

— Мариечка, опять дед Савва! Должно быть, ищет нас.

— Нет, Василько, он скорей всего ищет новую глину. Видишь, с мешком.

И каково же было их удивление, когда дед Савва положил в мешок какой-то камень и, пригнувшись, направился на поле. Влюбленные украдкой последовали за ним. Вот он дошел до границы своей земли, вытряхнул из мешка камень и лопату и принялся копать. Потом кинул в яму камень, бросил на него горсть земли, задумался.

— Прощается дед со своими моргами, — Мариечка с улыбкой посмотрела на Василя, а тот и сам кусал губы, чтоб не рассмеяться.

— Мариечка, он всегда распугивал нас, может разок мы его спугнем?

— Ой, не надо! Еще заболит со страху да со стыда. Пойдем, пусть старик погрузит...

— Мариечка, я тебе хочу еще словечко оказать... Отступишь ты от участка у озера. Меньше будут люди смеяться.

— Василь, не поминай мне об этом озере, а то опять поссоримся!

— И в кого ты, любушка, такая упрямая?

— В тебя, миленький!

— В меня?

— В тебя!

— Нет, верно, все-таки родится что-нибудь у этого озера. Может, хоть семена вернешь. Философия?

— Никакой философии я тут не вижу, — засмеялась девушка и притихла. — Еще кто-то идет.

— Это Иван с Настечкой домой направляются, — узнав голоса, определил Василь. — Про то же говорят, что и мы...

— А все потому, что весна, — шепотом ответила Мариечка, прислушиваясь к голосу подруги.

— Слово дала вырастить шестьдесят центнеров, и сомневаюсь, Иванко, — сокрушается девушка.

— Не сомневайся, Настечка. Раз ты дала слово, значит столько и уродится. А если не хватит, я тебе с других полей наношу.

— Иван, ты опять за свое!

— А на что мне чужое, когда и своего вдоволь! И кукурузы у тебя хватит. Это говорю я! Свое говорю! И целую свое, — и он обнял и поцеловал девушку.

* * *

Бундзяк и Наремба вышли из букового леса и остановились перед молчаливым монастырем отцов базилиан. От церковных ворот черной птицей отделилась костлявая фигура монаха.

— Слава Иисусу!

— На веки слава, брат келарь, — Бундзяк со вздохом облегчения отнял руку от оружия. — Не спит отец игумен? — он кивнул головой на окна, сквозь которые пробивались узкие полоски света.

— Ни днем, ни ночью не спит, — засмеялся эконом монастыря.

— Старость?

— Упорство. Обещает тогда только выспаться вволю, когда победят высокие принципы Ватикана и в честь благой вести надо всей землей загудит колокол святого Петра.

— К тому времени пухлые телеса отца игумена, верно, станут мощами, — пошутил Бундзяк.

На губах келаря затрепетала улыбка, но он сразу же прикусил ее, неодобрительно покачал головой и, подхватив полы рясы, направился к монастырским воротам; там он остановился, протянул руку к кровле, дернул за что-то — в глубине монастыря задребезжал колокольчик. Ворота дрогнули, полуотворились и снова затворились, пропустив пришедших. В стене коридора закрипела железная дверца, из проема высунулась заспанная голова монаха.

— Чего душе надобно?

— Чего? — Бундзяк презрительно глянул на монаха и вызывающе ответил: — Сперва греховных утех, а потом святого рая.

Сонное лицо оживилось, затем на нем отразился испуг.

— Бундзяк, не тешь сатану.

— «Проиграли мы жизнь сатане», — напыщенно продекламировал Бундзяк...

Отяжелевший от старости и накопленного с возрастом жира отец игумен с ласковой улыбкой возвращает Бундзяку дневник.

— Дивны дела господни, сын мой: у тебя было ровно столько земли, сколько есть у святого Ватикана. Я вижу в этом перст божий.

Бундзяк едва заметно усмехнулся, а по лицу игумена уже разливалось профессиональное вдохновение.

— О пречистая дева Мария, от всего сердца молю тебя: не выпускай из-под святой опеки воина Касиана, благослови его ближних, благослови его землю, благослови его жилище.

— Чем дольше живу на свете, тем больше верю в провидение. — Бундзяк смиренно склонил голову и ощутил подбородком жесткое прикосновение денег, полученных от игумена и спрятанных на груди.

— Ты непочтительно описал встречу с Гордынским и Лепехой, забывая, откуда они, — заметил игумен, и лицо его стало жестче.

— Так ведь им все мало! — вспыхнул Бундзяк. — Даже моей работы им мало. Им, кажется, всего и всегда будет мало... Да и стоит ли вспоминать о тех, кого пограничники перерезали очередями надвое? Это — не в доме будь сказано — дурная примета...

Игумен вздрогнул, но сразу же овладел собой.

— Сын мой, дух твой поддался неприязни, вызванной холодным словом, и она точит тебя, как червь... Жизнь не хор певчих на четыре голоса, в ней возможны погрешности и в такте и в интонации. Найдутся они и у тебя... Ты мастерски описал и кровь человеческую и смерть еретиков новейших времен. Но почему так мало их умирает на страницах твоего дневника и еще меньше — в жизни? Ибо из различных источников постигает нас разочарование: не все убитые здесь, — он указал на дневник, — покоятся там, — он ткнул

вниз благочестиво сложенными пальцами.

— Раненые выживают, — поморщился Бундзяк. — Крестьянство живуче.

— Живуче, — согласился игумен. — Запомни: украинское крестьянство возросло на индивидуально-родовой основе, а кто рвет с этой основой, тот должен быть погребен. Не радуют меня, сын мой, последние события. На моих глазах тают, как воск, крестьянские обычаи наших предков. В этом новом омуте крестьянство перестает быть массой. И теперь неведомо, кто для нас страшнее: Микола Сенчук или Лесь Побережник?

— Лесь Побережник? — Бундзяк поперхнулся от смеха.

— Это не так смешно, как кажется. — Сама серая безысходность на миг заглянула в глаза Бундзяку и тут же скрылась под толстыми веками, а голос игумена перешел в шипение: — Когда на путь большевиков становится Сенчук, это естественно: для него дым наших кадил всегда был едок. Но когда на этот путь выходят Побережники, мы остаемся только с одним господом богом! И, пока не поздно, нам надо всеми мерами успокоить этот омут, задержать расслоение крестьянства... Политика не знает сентиментов. Не жалобами, а действиями предстоит приблизить из-за океана свет новой вифлеемской звезды. Благослови тебя пречистая дева Мария. Аминь.

В келью неслышно вошел келарь.

— Оружие из земли уже достали.

— Тщательно засыпьте яму, — приказал игумен.

* * *

Михайло Гнатович бережно вынимает из земли градусник, и на него россыпью нанизываются отблески месяца.

— Что? — спрашивают одновременно Сенчук и Макаров.

— Подтверждается начало весны. Беспокойтесь?

— А то нет! Что ни говорите, первая пахота, — тихо ответил Сенчук.

— И я тревожусь. — Чернега подошел к навесу, где поблескивали плуги. — Руки сами тянутся к плугу. Вспоминаю начало своей жизни, тридцатый год. Мне тогда семнадцатый шел, а люди, не ожидая моего совершеннолетия, выбрали бригадиром... Как тогда работалось! И до сих пор не могу забыть те дни, как юность свою. И волнуюсь сейчас, как тогда...

— И я с тех пор, как имею дело с тракторами, каждую весну волнуюсь. И спрашивается: отчего бы? — задумчиво проговорил Макаров. — Перед большим праздником всегда волнуешься, а для нас, трактористов, весна — праздник.

— Верно, товарищ директор! — подошел к нему Павло Гритчук.

— Павлуша, ты чего не спишь? Скоро пахота, первая твоя пахота.

— Потому и не сплю, что первая.

— Ты гляди! — вырвалось у Макарова изумленное восклицание. — Точнехонько так же и я не спал перед своей первой пахотой.

— Выходит, Павло, ты во всем на своего директора похож, и, верно, скоро и сам станешь директором МТС, — усмехнулся Чернега.

— От такой чести, если заслужу, не откажусь, — серьезно ответил юноша.

— Павло, а ты в чем собираешься пахать? В комбинезоне?

— А что?

— Комбинезон, Павло, для буден, а в праздник лучшее надевают.

— Так я побегу домой, — забеспокоился парень. — И всем нашим скажу, что надо как в праздник одеваться.

По улице с песней проходят девушки:

Пашет Семен, пашет,
На дорогу смотрит...

- Хорошо, — слушая песню, говорит Михайло Гнатович.
- Пением начинается великое утро.
- Может, и нам вспомнить молодость да запеть?

И они, выходя в поле, навстречу рассвету, стройно затянули песню над росистой дорогой, и в песне той, как и в жизни, люди трудились, любили и надеялись.

* * *

Тихо-тихо, как вечерняя вода, уносится ночь, тронутая первыми струйками рассветной прохлады. Месяц уже улегся спать, а спокойная земля все прислушивается и прислушивается с волнением к журавлям, несущим ей на своих крыльях весну и осыпаящим серебряным переливом поля, которые еще сегодня люди засеют новыми семенами своих надежд.

Давно пора бы уже идти домой, однако и конюх Юстин Рымарь и бригадир Лесь Побережник все сидят у конюшни, попыхивая трубками; изредка перемолвятся словом и снова молча прислушиваются к властной поступи апреля.

— Отец, Лесь Иванович, вы бы хоть на часок прилегли: скоро уже в поле выходить, — в который уже раз обращается к ним Мирослав Рымарь.

— Это вам, молодым, спать хочется, а в наши годы бессонница забирается в жилы. Да и разве можно сегодня заснуть?

— И верно, нельзя. — Отблеск трубки тускло освещает задумчивый лоб Лесь.

— И мне не спится, — вздохнул Мирослав.

— Я тебе посплю! — обиделся Юстин. — Не хватало еще, чтобы на посту в сон клонило! Вот, скажу вам, Лесь, распустилась у нас молодежь! Мало все-таки за них комсомол берется. Ведь повернется же у него язык сказать такое!

С поля доносятся осторожные шаги. Побережник и Рымарь одновременно встанут с пихтовой скамьи. У глухой стены мелькнула какая-то тень.

— Кто идет? — кричит Рымарь, спеша на шорох шагов.

— Это я, Юстин Иванович, — отчетливо откликается Галибей.

— А, это вы, Андрий Прокопович, — успокоенно протянул конюх. — Тоже не спится?

— Не спится.

Зоотехник подходит к гуцулам.

— Такая уж пора настала. Что ж вас согнало с теплой постели?

— Пойду, думаю, проверю, что в конюшне делается, — в такое время может и несчастье случиться.

— Ой, и не говорите! — Рымарь трижды сплюнул через плечо. — Не поминайте нечистого...

— А вы разве верите в него? — смеется Галибей.

— Не верю, но и помянуть нечисть всякую не желаю, — Юстин снова плюется.

— Надо коням перед пахотой подсыпать еще немного овса.

— Это мы сделали, Андрий Прокопович, — говорит с довольным видом Рымарь. — Сами сделали: каждый конюх принес лучшего овса; я думаю, хорошие обычаи и сейчас пригодятся.

— Это вы напомнили конюхам про обычай?

— Я, а кто же!

— Тогда, вижу, мне делать нечего. Будьте здоровы.

— Счастливого пути!

— А вы так и не думаете идти в село?

— Да, наверно, пойду помаленьку, чтобы жена меньше точила об меня язык, — ответил Лесь.

— Пошли бы вместе, да не угнаться вам за мной, — и фигура Галибея растаяла в темноте.

— Как печется человек о колхозном добре! Часто и ночью заглядывает в конюшню. Славный зоотехник у нас. Правда, Лесь?

— Правда, — задумчиво проговорил Побережник. — Только вроде мягковат, всем грехи прощает... — добавил он, вспомнив не раз слышанные слова и поговорки Галибея. — Это уж, верно, скотинка сделала его таким. Кто жалеет скотинку, тот и всех будет жалеть. Что ж, побреду потихонечку, чтоб Олена не скучала.

Лесь попрощался с конюхами и, еще раз обойдя конюшню, пошел по бережку ручья, который неумолимо пел свою простенькую, но чистую весеннюю песенку. Лесь нагнулся к ручью, и студеной вода обожгла ему голову.

— Водка, просто водка! — Гуцул крикнул, поднялся, оглянулся и вдруг вскрикнул: — Что это?!

Он совершенно ясно увидел — у глухой стены конюшни затрепетал золотой листок огня, отклонился вбок, погас и снова ожил.

— Ой, горе какое! Услыхал-таки нашего зоотехника злодей какой-то!.. — застонал Лесь, перепрыгнул через ручей и, пригибаясь, побежал к конюшне.

Оттуда чуть ли не на него метнулась испуганная тень. Лесь припал к земле, неизвестный зашлепал по дну ручья.

«Следы прячет», — подумал гуцул и пополз навстречу.

В облике неизвестного было что-то знакомое. Вот он выскочил из ручья, зачавкал сапогами, и в тот же миг Побережник вцепился обеими руками в правую руку беглеца. Из нее с глухим стуком выпал пистолет. И тотчас же поджигатель левой рукой изо всей силы ударил Побережника в переносье.

Лесь падает на землю, но за ним падает и враг.

Ослепленные злобой, они с хрипом катаются по берегу ручья, и Леся уже совсем не удивляет, что он душит не кого иного, как Галибея, а тот душит его, Леся, пытаясь впиться ему в горло зубами.

«И не будет злomu на всей земле бесконечной веселого дому», — вспыхивает в памяти Леся давнишняя декламация зоотехника...

«Поистине не будет тебе веселого дома!» — и Лесь отталкивает голову бандита от своей шеи.

А как он умел обволакивать свое жало отравным медом слов! Даже к Шевченку протянул свои грязные лапы!

Узловатый клубок тел поднимается, падает, кружится и катится. У Побережника и Галибея трещат кости, в клочья разлетается одежда, и кровоточащие раны забиваются землей.

Наконец руки врага ослабевают, и из глубины его придавленной груди вырываются хриплые слова мольбы:

— Лесь Иванович, спасите... Озолочу вас...

— Озолотишь? Взаправду?

Лицо зоотехника искажает заискивающая улыбка.

— Целый чемодан денег получите. Пятьдесят тысяч. Сто... и никто не узнает.

— И какие деньги? Американские?

— Разные, Лесь Иванович... Сто тысяч даю, сегодня же...

— Молчи, барин! И миллионы не помогут тебе...

— Лесь Иванович, вспомните нашу первую встречу. Я же вам помог... Чем мог, пособил...

— Чем ты мне пособил?! Тем, что слизняком заполз в мою доверчивую душу, да и обернулся гадюкой? Тем, что сапоги мои спас?... Подойдут наши — я эти сапоги сразу сброшу с ног. Ни тысяч твоих не хочу, ни сапог!..

Он зорко посмотрел на поле.

На синем, чуть зеленеющем востоке уже погасли отблески пожара и вместо злого огня нежно трепетало первое золото рассвета, и на фоне зари уже виднелись фигуры спешивших к

Лесю односельчан.

* * *

На востоке поднимается багряное полотнище, и еще невидимое солнце расписывает на нем лучами величественный веноч зари. А из-под самого зоряного венка выезжают трактористы. И земля вздымается, рассыпается, а ее нежные комочки вдруг взлетают вверх и оборачиваются жаворонками, песней. Пахари торжественно сворачивают с дороги в поле. Навстречу им, размахивая руками, спешит дед Степан.

— Подождите, деточки, подождите, внучата мои...

— Дедушка, что случилось? — встревоженно окружают его пахари.

— Дальний путь с гор, а ноги-то уж подтоптались, вот я и запоздал. Хочу, детушки, тоже пойти за плугом. Напахался я на своем веку, немало напахался, А только как же, думаю, новая жизнь у моих внуков без меня начнется? Дайте хоть одну ровную борозду с трактористами пройти. Павло! Павлик! — крикнул дед Гритчуку. — Останови на минутку свою машину, дай полюбоваться.

— Для вас, дедушка, остановлю. — Тракторист упруго спрыгнул на землю, подошел к старику. — Что там у вас?

— Хочу с тобой пахать, на машине, хоть самую малость...

— Как это — со мной? — удивился Павло.

— Ты, сынок, помоложе, да к тому же ученый, ну и веди свою машину, только так веди, чтоб деду поспеть за нею, а я за плугом пойду. — Старик подошел к трактору, посмотрел на плуги и беспомощно заморгал глазами. — А куда же, сынок, чапыги подевались? Взяться-то не за что...

— В прошлое отошли чапыги, — рассмеялся тракторист.

— Выходит, и не доведется мне с тобой на машине пахать?

— Верно, придется вам за простым плугом пойти, — сочувственно глядя на старика, проговорил Гритчук и прикусил нижнюю губу.

— Становитесь, дедушка, на мое место! — крикнул с борозды Юрий Заринчук и перешел от плуга к лошадям.

— Спасибо, Юра. Уважил старика, так теперь слушайся его. Веди прямую, только прямую линию. На всю жизнь прямую.

Лица гуцулов осветились улыбками.

Юрий тронул коней, и земля зашуршала, поглощая сияние плуга и солнца.

Борозда тянется все прямо и прямо, перерезая поперек межи и сорняки...

— Как, дедушка? — оглянувшись, спросил Заринчук.

— Так, дитятко, словно веду свою борозду к самым райским вратам.

— К самым воротам счастья, — поправил Заринчук, и дед кивнул головой...

Вечером деда Степана остановили на горе Бундзяк, Палайда, Наремба и Космина.

— Ты что, старая тряпка, обольшевичился перед смертью? — Бундзяк злобно впился взглядом в старика. Тот засмеялся. — Ты чего хохочешь?

— Как же не хохотать, когда ты такой смельчак, что даже старика боишься! Ты приволок бы против деда еще десяток проходимцев. Чего глазами сверлишь?

— Я тебя из этой игрушки навывлет просверлю. Кто тебя просил пахать в колхозе?

— Хлеборобская совесть просила. Я на свете по совести живу.

— Цыц, падаль! Убью! — задрожал Космина.

— А кто вы такие, чтоб меня убивать?

— Мы? Мы подземные ключи.

— Вы — подземные ключи? Да какой это пес налял такую нелепицу? Гадюки вы подземные, вот кто вы!

— Крестись, дед, ночью твоя свечка засветится! — Космина поднял «вальтер».

— Что ты меня, старика, смертью пугаешь? — Степан выпрямился. — Я и в земле буду

лежать, как корень, а вы и на земле корчитесь, словно черви могильные. На вас люди и плюнуть не захотят. Пусть уж вам от меня выпадет такая честь. — И он плюнул в лицо Космине.

Тот, вскрикнув, нажал гашетку.

Дед Степан пошатнулся, неловко упал лицом в хвою молоденьких пихт.

Бундзяк с недоверием палача посмотрел на распластанное тело. Ему теперь мерещилось, что и мертвые оживают. И если убивали наспех, без проверки, его и на расстоянии некоторое время мучил тревожный перестук чужого сердца.

«Кровь густеет», — думал он, злобно морщась и растворял ее то самогоном, то спиртом.

Он хотел нагнуться к груди деда Степана, но неожиданно для всех вскрикнул, перепрыгнул через неподвижное тело и скрылся в лесу.

На дороге внезапно показались милиционеры. Борис Дубенко тотчас помчался за Бундзяком.

— Руки вверх! — приказывает Богдан Гомин бандеровцам, подымая автомат.

Бандиты очумело кидаются врассыпную, за ними бегут милиционеры.

— Не уйдешь, падаль! — кричит Гомин, преследуя Космину.

Тот, отстреливаясь, остановился на миг, застонал и, цепляясь руками за ствол пихты, бессильно сел на змееподобный корень.

Бундзяк перепрыгивает с камня на камень, скатывается в овраг и снова подымается вверх, убегая от погони. Но Борис Дубенко не отстает от него. Он, как властелин гор, по звуку распознает, куда побежал бандит, отрезает его от Черного леса. Бундзяк оглядывается назад и с ужасом замечает, как сокращается расстояние между ним и парнем, как вырастает перед глазами фигура преследователя.

Вот уже завиднелась новая гора, близится лесная чаща, где пихты, словно в напряженной борьбе, глушат одна другую кронами и обнаженными корнями... И тут этот парнишка вдруг исчезает. Из потной груди Бундзяка вырывается вздох облегчения. Но внезапно у опушки леса вырастает озаренная лунным сиянием фигура все того же Дубенка.

Спрыгнуть бы в яр. А что, если упадешь на камень и переломишь позвоночник?

Что же делать, что делать? Страх раздирает мозг. Но внезапная идея придает Бундзяку сил. Он поворачивает назад, по узкой тропочке, петляя, спускается в овраг и спешит к Тарасу Трускавцу, который живет в своем тайном убежище одиноким волком.

Только бы добежать, только бы успеть...

Перепрыгнув через ручей, он выбежал на лужайку и стал спускаться в пропасть. Позади слышен шорох шагов Дубенка. Кажется, что из-под его ног осыпаются не камешки, а целые глыбы. Но вот уже и нора Трускавца.

— Тарас! Тарас! — отчаянным голосом кричит Бундзяк, пробегая мимо логова своего сообщника.

Тот выскакивает из подземелья с оружием в руках и встречается лицом к лицу с Дубенком...

Предсмертный крик Трускавца настиг Бундзяка уже в чаще леса. Касьян трижды перекрестился, молясь за упокой души Тараса и за свое спасение.

* * *

Вечер, но долина наполнена рокотом моторов и движущимися огоньками. По свежей борозде идет Ксения Дзвиняч, а перед нею подымается отвалами и рассыпается вывороченная земля.

— Ксения, любушка, как же так можно? — окликает ее, подходя, Елена Побережник. — Нам надо за урожай бороться, а разве ночью можно как следует вспахать поле? Хотела я остановить тракториста, а он прогнал меня домой. Так у меня сердце болит, что хоть под трактор ложись.

— А пусть оно у вас не болит, Олена. Трактористы пашут как надо. Гляньте вон на сантиметры! — и Ксения замерила борозду окладным метром.

— Так и у тебя тоже болело сердце? — спросила Олена, взяв у нее метр.

— Не так, как у вас, а болело, — Ксения улыбнулась, не замечая Павла Гритчука, который остановил трактор и подошел к ним.

— Тетка Олена, опять следите? — с деланным гневом набросился тракторист на женщину. — У меня тоже есть самолюбие. Ежели мне не верят, я и на другое поле перейду. Почему вы не дома?

— Да разве я дома могла бы полюбоваться вашей работой? Так с вечера славно пашете...

— Что ж любуйтесь хоть до ночи, — великодушно разрешил тракторист. — Только не так часто тыкайте метром в борозду... Эх вы... Да мы ведь сами хотим, чтобы урожай вырастал стеной. Не меньше вас хотим. За сколько вы боретесь? — обратился он к Олене.

— Боролась за двадцать и пять, ну, а как пристал муж с ножом к горлу, взяли еще пять.

— Плохо, плохо муж к вам приставал. Мягкий он, видно, у вас, бесхарактерный.

— Мягкий? Вы еще моего Леся не знаете! — вспыхнула Олена. — У него, видите ли, такой характер, что сразу в бригадиры попал, а чем он через год станет, того и жена не знает!

* * *

Меж гор подымается молодой месяц.

У Черемоша на голубом камне стоят дед Савва и Мариечка. Старик сосредоточенно, с надеждой и недоверием, разглядывает комочек приозерной земли.

— Может, что-нибудь и выйдет, — говорит он. — Может, и выйдет. Все в руке божией.

— А мне кажется — больше в вашей, чем в божией.

— И как у тебя язык поворачивается, говорить такие вещи! Что я, выше бога?

— Для меня, дедушка, выше.

— Мариечка, послушай хоть раз меня, старика: не сей, дитяtko, сейчас, в новолуние.

— Да почему?

— А потому, что вся сила уйдет в стебель, а не в зерно. Ты посеи при полумесяце, когда он завяжется, как плод. Тогда и зерно завяжется у тебя.

— Ой, дедушка, и скажете же такой пережиток! — девушку трясет от смеха.

— Стало быть, не будешь ждать?

— Не могу. Каждый пропущенный день высосет у меня сто тонн влаги с гектара и кусочек сердца иссушит.

— А у меня, выходит, не сохнет сердце? Я ведь хочу, как лучше. Годы, годы отрывают тебя от меня, откатываешься, как румяное яблоко от старой яблони. Только бы ты, маленькая моя, к счастью прикатилась. — Старик снова посмотрел на комочек земли, на молодой месяц, и выражение глаз его изменилось. — Так не послушаешь деда, не подождешь до полумесяца?

— В новолуние посею.

— Так пусть же и урожай у тебя как месяц растет! — пожелал, выходя из-за деревьев, Микола Сенчук.

— А как месяц растет, Микола Панасович? Расскажите! — с живостью откликнулась Мариечка на знакомые шуточные нотки в голосе председателя; она любила слушать его советы, рассказы о былом и даже сказки.

— А вот послушай, может и пригодится...

Только народился в небе месяц — совсем еще молоденький был — полюбила ему звездочка. И вот бежит он ранним вечером к портному. «Сшей мне, портной, добротный да просторный костюм!» — «А что ж, это можно, — ответил портной, улыбнулся в усы, — а были они у него прямые, как стрелки, — и охотно снял мерку. — Приходи, молодец, через

неделю, будет тебе платье добротное да просторное». Ровно через неделю опускается месяц к портному. «Ну, что, друг, сшил?» А у того от удивления и усы вилками вверх задрались. «Что это тебя, молодец, так разнесло? Или оженился, не дожидаясь костюма?» — «Только собираюсь, — подмигнул месяц. — Ну, показывай костюм, погляжу, можно ли в нем к невесте идти». Посмотрел на работу и опечалился. «Снимай еще раз мерку, придется невесте подождать меня». Что портному оставалось делать? Послушался он месяца и говорит: «Заходи, дружище, еще через неделю».

Проходит еще неделя. Ночью кто-то стучится к портному. Отворил он дверь и опешил, усы и те повисли, как перестоявшиеся колоски: стоит перед ним роскошный круглолицый месяц, широко улыбается, костюма ждет. «Что же мне делать, добрый человек, — взмолился наконец портной, — ежели ты каждую неделю втрое вырастаешь?»

Вот пускай и урожай у тебя так растет, Мариечка... А земля угрелась уже, — и Сенчук присел на корточки на краю поднятой целины.

— Теплая, хоть ребенка сажай, — с любовью проговорила девушка и склонилась над своим полем.

* * *

В низинке среди полей стоят Лесь Побережник и Микола Сенчук. К ним со всех ног бежит с сапкой в руке Олена.

— Ласточкой летит любушка моя. Что-то она защебечет? — говорит Лесь, приложив к глазам почерневшую руку.

— Лесь, у нас в бригаде долгоносик появился, и бригадира нашего нет. Что делать? Добрый день, Микола Панасович! — запыхавшись, скороговоркой сыплет Олена. — Я так работать не могу. Либо переведи меня в свою бригаду, либо скажи, где наш бригадир запропастился.

— Говорят, он сбежал от языка некоторых звеньевых, — деликатно поясняет Лесь.

Олена вспыхнула:

— Что уж, и слова самокритики ему не скажи! Стоило человеку стать начальником — сразу в неженку превратился!

— Так это он от твоего языка удирает?

— Помолчи ты хоть при председателе. Я тебя спрашиваю: что делать-то нам?

— Поднять все звено на борьбу с кузькой.

— А как же с прорывкой?

— Подождем денек: прорванные грядки долгоносик скорее уничтожит. А не прорвете — после сможете сохранить лучшие корни.

— Так и делать, товарищ председатель?

— Только так. Как бригадир говорит. Пойдемте в ваше звено.

* * *

Дед Степан лежит в новой палате. Краска на стенах еще не просохла, и в комнате свежо. Вокруг старика теснятся внуки и правнуки.

— Дедушка, не умирайте! — просит его златокошая, как подсолнух, девочка.

Старик обводит взглядом всю свою колхозную родню.

— А я и не умру, дитятко. Они говорили, что надо мной свечка засветится. А мне светят глаза людские, — и он стал приподыматься с постели. — Дети, растет земля?

— Высоко поднялась, как вешние воды.

— И плоты идут по Черемошу?

— И плоты идут. Да все большие, гулкие. Похорошел Черемош, как никогда!

— Жизнь! Ну, так вынесите меня, дети, на широкий луг, чтобы видны были и нивы, и Юрины пруды, и люди.

Гуцулы почтительно выносят старика на луг, и Степан то впадает в полузабытье, то, не отрываясь, следит, как растут всходы, сверкая всеми оттенками зелени. Перед глазами Степана проплывают курчавые полосы свеклы. Чистые голоса расчесывают ее густые, как девичьи косы, рядки:

Ой, ты, свекла, белый корень,
Зеленые листья!
Приходили кавалеры,
А я не в монисте!

Сверкая россыпью дождевых капель щедро кустится ячмень. Тянутся вверх светлые побеги яровой пшеницы. По-девичьи гордо подымается кукуруза, и в каждом сердечке у нее таится самоцвет. На склонах гор уместились зеленые островки табака, и все выше подымается молодой сад, рассыпая соловьиные трели.

— Жизнь! — говорит и Юрий Заринчук, осторожно вылавливая из пруда отяжелевшую от взятка пчелу. Она некоторое время лежит у него на ладони золотым самородком, потом, отчаянно взмахнув прозрачными крылышками, ввинчивается в небо и; падает на леток, облепленный такими же труженицам и, как она.

Вечереет. Мимо пруда по узкой полевой дорожке проходят к Черемошу девушки.

Плавала лебедка
В лебединой стае.
Крикнул белый лебедь,
К милой подлетая:

— Ты скажи, родная,
Что тебе не спится?
Иль пора настала
Сердцу чаще биться?

И лебедка другу
На то отвечает:
— Соловушка в роще
Мне уснуть мешает.

Песня окликает подруг со всех полей. Девушки шагают в обнимку, как молодые годы, а позади них все подымаются и подымаются нивы, выкидывая первый колос и первый цвет. Разворачивается тот незабываемый праздник весны, когда каждый злак стремится порадовать человека, дорасти до него, одарить его нежностью животворной пыльцы.

— Растет земля. Как никогда растет, — шепчет старик, и все его мысли только о жизни.

* * *

— Да не может быть?! — у Марьяна Букачука глаза становятся круглыми от испуга.

— Как не может быть? Сам, собственными глазами, видел. А Настечка, и Мариечка, и Катеринка, и другие девчата собрались их встречать... Парни вздумали провести плот разом в десять клетей, — волнуясь, объясняет Дмитро Стецюк. — Помирать им, что ли, захотелось в одночасье, детям нашим?! Пойдем, пойдем живей, может отговорим. Пойдем, Марьян!

— А, горюшко мое! — и старший пастух стал спускаться с горы. — Такого плота еще во всей Гуцульщине не бывало!

Карпаты величественно колышутся в весеннем мареве. Кажется, синие от пихт и зеленые от лугов горы перегоняют, спускают в долину солнечное золото и оно в грузном

неводе покачивается на волнах Черемоша.

На воде, привязанный к стоякам, колыхается гигантский, в десять клетей, плот. К тяжелым рулевым веслам стали Василь Букачук, Иван Микитей и Семен Бойко. Марко Лычук и Володимир Рыбачок дружно сбрасывают чалки.

— Не успели! — кричит, подбегая к берегу, Марьян.

— Не успели, — беспомощно вздыхая, повторяет Дмитро. — Не может гуцул напутствовать недобрый словом. Не может, а лучше, чтобы мог.

— Счастливого плавания! — машут крысаями Марьян Букачук и Дмитро Стецюк.

— Отец, не горюйте! — кричит Василь.

— Не горюйте, отец, — улыбается Стецюку Микитей.

— Хорош у вас сын! — дружески посмотрел Марьян на Дмитра. — Скоро свадьба?

— Разве я знаю? Прежде мы детей учили, а теперь... — он замахал крысаней и отер ею набежавшую слезу. — Даже не верится, Марьян, что у нас такие дети.

Плотогоны выводят плот на середину реки.

Издалека назойливо наплывает угрожающий гул. Кажется, будто гудят какие-то подземные адские жернова, размалывая покой природы на хмурые зерна тревоги. Это клокочет, беснуется на пороге вода, и гул ее нависает над оглохшими пихтами, шума которых здесь не услышишь ни в одно из времен года.

Плот все стремительнее втягивается в свирепую, покрытую пеной пасть переката. Вот первая клеть взлетает на гребень порога, на миг повисает в воздухе и стоймя падает вниз. Вода и пена покрывает и бревна и плотогонов. А сверху напирают одно на другое следующие звенья.

Но вот над волнами неясной скульптурной группой поднимаются плотогоны. Ритмично повернулись весла, и притихшие клетки на некоторое время покоряются человеку.

С высокого берега раздается разбойничий свист. На маленькой скалистой площадке беснуется, захлебываясь от хохота, уродливая фигура Нарембы. Но только плотогоны заметили его, как он словно сквозь землю провалился.

— Тьфу, тьфу, тьфу! — трижды сплюнул через плечо Бойко. — Не к добру эта встреча... Ой! — глаза его налились ужасом. Он первый заметил, что вдали, там, где берег круто спускался к воде, Черемош перегородило свежесрубленное дерево.

— Приготовили нам в ущелье смерть... — Побелевший Иван Микитей вздохнул, обвел взглядом подточенные водой и тиной скалы и хотел было отчаянным движением сорвать рулевое весло.

— Правь, Иван! — властный голос приковал его к рулю. Василь склонился к товарищу, поцеловал его. — Рулевой должен править до последней минуты.

От трех равномерных ударов вода забурилась, вытягивая тело плота и приближая его к столетней пихте, соединяющей берега не мостом, а смертью.

Но что это? На пихте вдруг появились девушки.

«Переходят на тот берег. И ничего не знают, — с тоской подумал Иван. — Может, и Настечка с ними».

Вот девушки спрыгнули с живого моста, и головы их замелькали в прорезях ветвей.

— Василь, да видят ли они нас-то? — забеспокоился Иван. — Еще и сами погибнут... Гей, гей! — крикнул он что было сил.

«Гей, гей!» — отозвались дикие ущелья.

Но девушки даже не оглянулись на крик. Обхватив вершину пихты, они принялись оттащить ее в сторону. И вот дерево, затрепетав всеми ветвями, передвинулось по каменистому дну. Между пихтой и берегом открылось незагороженное водное пространство. Вот плес расширился еще немного, и плотогоны направляют плот туда.

«Мариечка!» — Василь узнал свою милую и чуть не подрезал берег крайними бревнами.

— Настечка, беги на тот конец пихты! — кричит Иван.

Плот, черкнув по берегу и по ветвям пихты, вылетает на простор.

— Счастливого плавания! — кричат позади обнявшиеся Мариечка и Настечка. Их глаза лишь на миг встречаются с напряженными взглядами парней.

— Счастливого плавания! — приветствуют сплавщиков девушки, стоящие впереди, и на плот летят вешние цветы.

— Молодцы! — улыбаясь, покачивают головами пожилые гуцулы.

А плот уже всплывает в вечер. Иван снимает весло со штыря, зажигает смоляной факел — лушницу, — кладет ее на плечо и стоит с нею, как Прометей.

Мерцающий огонь, а еще более того чуткий, никогда не изменяющий слух помогают плотогонам не сбиться с фарватера. И они застыли у весел, настороженные и могучие.

* * *

Звено Олены Побережник рыхлит междурядья, время от времени тревожно поглядывая на приближающийся трактор.

— Я ж ему по-хорошему сказала: не пушу на свою делянку — и все. А он подбоченился и хохочет, как герой: машина, мол, лучше распушит, чем сапка! — в который уже раз пересказывает Олена женщинам своего звена разговор с трактористом. — Может, и лучше, да зато как она утаптывает почву! Это же вес, железо тяжелое. Оно по всему полю торную дорогу прокладывает... Ой, сюда идет!

Олена, размахивая сапкой, устремляется наперерез трактору.

— Стой, говорю тебе! Стой! Слышишь, Павлусь, стой!

— Опять вы за свое? И как у вас язык не распухнет!

— Павлик, я тебе вечером пол-литра поставлю, только не кромсай ты мне поле и сердце мое, — просит Олена, понизив голос, чтобы не услышали женщины.

— Вы что, тетка, белены объелись сегодня или с дядькой Лесем не доругались за ночь? На черта мне ваши пол-литра, когда я дело делаю!

— Так ни мой поклон, ни моя водка не останавливают тебя? — рассвирепела Олена. — Так я тебе сама путь перегороджу! Стой, выродок, а то под колеса лягу! — Олена ударила сапкой по радиатору и вросла в землю перед машиной, готовая на все.

— Чтоб вам пусто было! У меня тоже самолюбие есть! — Павло круто повернул машину на дорогу.

— Видите, остановила все-таки! — отирая пот, сообщила Олена своему звену.

— Павло, заезжай на мою делянку, — подходя к трактористу, предложила Ксения Дзвиняч.

— Пускай едет! — злобно бросила Олена. — Теперь, Ксения, получишь ты свои центнеры, когда рак свистнет, а муха закашляет... Лучше останови его, как я!

— Рост у меня не тот, что у вас, Олена. Это вам при вашей дородности под стать трактор остановить.

— А то нет! — ответила Олена, потрясая сапкой. — Пусть не думает, что я хуже всех. Ксения, любушка, чернеет твое поле, совсем черное! — с ужасом воскликнула она, глядя на разрыхленную почву. — Догони его, догони скорей! Сама боишься — так я для тебя, так и быть, своим телом заслону, не пожалею!

— Оленка, я в науку верю, — с тревогой ответила Ксения.

— Ты глазам своим верь, — рассердилась Олена и не могла успокоиться до прихода домой.

В хате она застала Леся. Он сидел за столом и, наморщив лоб, писал что-то.

— Лесь, ты что пишешь? Письмо? — подходя к столу, спросила Олена.

— Нет, корреспонденцию.

— Корреспонденцию? А ты не собираешься выехать в Станиславскую редакцию, как тот корреспондент, что к нам приезжал?

— Пока не собираюсь.

— О чем же ты пишешь?

— О работе нашей бригады. И еще о том, как одна женщина из нашей бригады хотела остановить сапкой трактор и сбавить урожай.

— Это из твоей бригады женщина?

— Сказал ведь уже, что из моей. Ты чего расстроилась?

— Лесь, а про меня ничего не пишешь? — замирая, спросила Олена.

— Делать мне больше нечего, только про тебя писать!

— Правда?

— Погляди, — Лесь подал жене лист бумаги.

Она повертела его в руках, вздохнула, спрятала за пазуху.

— Ты что, отогревать вздумала мою корреспонденцию? — возмутился Лесь.

— Хочу, чтобы мне Ксения прочитала. Может, ты что не так написал, а газета — великая правда.

— Олена, я все так написал.

— А про меня ни слова?

— Ни слова. Нельзя писать в корреспонденции про близких родственников.

Последний довод убедил Олену, и она вынула бумагу.

— Тогда бери... Лесь, а может, ты научил бы меня грамоте, а то в школу стыдно бегать... Научишь?

— Отчего ж нет! Только пообещай, что не будешь колотить сапкой по радиатору.

* * *

В хате Ксени Дзвиняч сидит за книжкой Олена Побережник и твердым пальцем так нажимает на буквы, словно собирается выкорчевать их.

— Ксения, любушка, ты так все в голову вкладываешь, что Лесь теперь не нахвалится мною. «Настоящий талант», говорит. Двадцать лет вместе прожили, а он только теперь заметил, что рядом с ним настоящий талант.

— Ой, талант ты мой вспыльчивый! — говорит с усмешкой Ксения Петровна и вздыхает, вспоминая прелесть вечеров, когда и ее ждала радость — ласковый взгляд и доброе слово Юры.

Олена приняла вздох Ксени за упрек и резко подняла голову.

— А что делать, если у меня характер как кипятик? Лесь говорит, что я сперва окажу, а потом подумаю, а я, поверь, и то и другое разом делаю, только не могу держаться спокойно, как ты. Что ж делать то?

— Да, наверно, сперва подумать, а потом говорить.

— Ты будто сговорила с моим Лесем. Видно, придется и впрямь послушаться вас... Ой, Ксения, пора уже в лабораторию идти! — и она вскочила из-за стола и завертелась перед зеркалом.

— Оленка, для кого это ты так прихорашиваешься?

— Для науки, любушка, — серьезно ответила женщина. — Я в ней хоть и мало смыслу, однако ни одного слова агронома не пропущу. Он так славно все растолковывает, что маленький разберется.

В хату-лабораторию женщины пришли с опозданием, на цыпочках пробрались на задние парты.

— Катерина Юстиновна, кто в колхозе центральная фигура? — спрашивал Нестеренко.

— Центральная фигура в каждом колхозе — бригадир, — уверенно начала девушка и, лукаво блеснув глазами, запнулась. — А в нашем, Григорий Иванович, центральная фигура, наверно... Олена Побережник.

Все расхохотались.

Олену охватило возмущение, но она, обведя всех взглядом, сдержала гнев и, переждав смех, отрезала Катерине:

— Я в твои годы почище зубы скалила. Только я еще посмотрю, как ты их сожмешь,

когда Олену Побережник и впрямь выберут центральной фигурой...

После занятий Олена хотела разыскать Катерину Рымарь, но та словно сквозь землю провалилась.

— Удрала бессовестная девчонка, — пожаловалась Олена Ксене и тихо спросила ее: — Правда, любушка, я сегодня сперва подумала про центральную фигуру, а потом уже сказала?

— И хорошо подумала, — подбодрила ее Дзвиняч, — потому что заглянула вперед и увидела, что станешь бригадиром.

— Да ведь надо же вперед заглядывать, — повеселев, подхватила Олена.

Утром она первой вышла на кукурузное поле и с тревогой принялась сравнивать свою и соседскую делянку. Осмотр не утешил, а расстроил звеньевую, и когда на дороге появилась Ксения Дзвиняч, Олена побежала к ней.

— Ксения, голубка, я больше глазам своим не верю! Доброе утро... Твоя кукуруза уже перегоняет мою и корнями и ботвой. Что вы ей шепчете?

— Научные слова... И знаешь, Олена, машина не сапка. Тракторист нам очень помог.

— Тебе, Ксения, — хоть сердись, хоть не сердись, скажу по правде, — все помогают! — с сердцем проговорила Олена и быстро пошла навстречу Миколу Сенчуку. — Товарищ председатель, я так больше работать не могу! Добрый день.

— Доброго здоровья. Что ж вам мешает работать?

— Несправедливость. Возле одних звеньев у нас все кружатся, как пчелы вокруг меда, а есть звенья, от которых все отворачиваются, словно от пустой миски. На делянке Ксени Дзвиняч машина встречает и утренние и вечерние росы, а мы по своей земле только сапками колотим. Что мы, хуже других?

— Вам трактор нужен?

— Ясно!

— Поздно опомнились.

— Это почему же?

Сенчук прищурился.

— Потому что одна женщина из бригады Леся Побережника покалечила трактор своим инструментом.

— Сапкой?

— Сапкой.

— Из бригады моего Леся?

— Из бригады Леся Побережника.

— И Лесь не оштрафовал ее? — возмутилась Олена. — Мягко он с женщинами. А бригадиру и для женщин характер нужен.

* * *

Тракторист, широко усмехаясь, ведет машину на делянку Побережник. Олена с неловкой улыбкой незаметно воткнула сапку в землю и пошла навстречу дорожному гостю.

— Как живете, Павлусь?

— Спасибо, хорошо. А где ж ваш инструмент, тетка Олена?

Олена прикидывается, что не поняла вопроса.

— Пол-литра? Это уж, Павлусь, вечером поставлю. Разопьете с Лесем на доброе здоровье.

* * *

Василина Рымарь колотит сапкой зачерствелую землю на своем огороде и со всей доступной ее натуре мягкостью объясняет Юстину:

— Так что, муженек, одна у меня надежда — на мак. Продам его перед рождеством, может наторгую на хлеб, чтоб не глотать нам борщ с одними слезами.

— С какого боку ни поглядеть на твои слова — отовсюду рожа Палайдихи высовывается.

— Что это Палайдиха стала тебе костью поперек горла?

— А то, что она мне жену поперек жизни поставила.

— Это, стало быть, я тебе стала поперек жизни? — поднимает голос Василина. — А ты мне и вдоль и поперек стоишь! Все наши пожитки в колхоз сдал. Лошадка-то уж принесла бы нам жеребенка, а на будущий год еще одного, и жил бы ты, Юстин, припеваючи, как пан!

— Так ты хочешь, чтоб я, Юстин Рымарь, проклятым паном стал?! — рассердился он. — Помянешь мне еще раз это слово — ей-богу, раздавлю твоими телесами весь мак!

Василину словно ветром сдуло с грядки, а Юстин, шагая домой, сердито бормотал:

— Ей-богу, возьму как-нибудь свяжу ее воловодом и вывезу в поле силой, а то иначе никак не оторвать ее от собственного мака. Из-за нее и мак этот так вьется в печенки, что не захочешь ни есть его, ни глядеть на него.

— Подменили муженька, ой, подменили, — вслух горюет Василина, выходя из кукурузы.

— Опять ссорились? — сладеньким голоском спрашивает через плетень Палайдиха.

— Ссорились, — вздохнула Василина.

— Жаль человека, — покачав головой, проговорила Палайдиха. — Что он у тебя, впрямь обольшевичился или весь разум высыпал с овсом в конские кормушки?

— Это вы напрасно говорите, — насторожилась Василина. — Тут не в его разуме дело, а в крутом характере.

— Да, боженька мой, я ж только про характер и говорю. Из-за него и вам придется ясли грызть или весной древесными почками кормиться. Вот, может, маком только и спасете семью от смерти, а то...

— Придется спасать, — и Василина с силой стукнула сапкой оземь.

— Что деверь из Америки пишет?

— Что он может написать? Вместо хлеба пальцы грызет, никакой самой плохонькой работы нет.

— А вы слышали, миленькая, что Бандера уже на Киев наступает?

— На Киев? — перепугалась Василина. — А что ж у нас так тихо?

— Спрашиваете! Да потому, что мы... в окружение попали.

* * *

Рассветные звезды уже бледнели, когда к озеру подъехала машина. Из нее вышли Чернега, Нестеренко, Сенчук и шофер.

— Должно, быть, Мариечка кинула в озерко волшебное снадобье, так вас сюда и тянет! — говорит Чернеге Сенчук.

— Не в озерко, а в приозерный грунт. Разве это не волшебство? — спросил Михайло Гнатович, указывая на роскошную, зеленую, как барвинок, кукурузу.

— Волшебство! — согласился Нестеренко.

Михайло Гнатович перебирает руками листву и стебли кукурузы.

— Что, экскурсанты не приходили сюда?

— Один чуть ли не каждый вечер ходит.

— Кто?

— Василь Букачук.

— Не мешает его интересом и других заразить, только чтоб не в вечерние часы ходили. Надеюсь, теперь не одно такое озерко заинтересует девчат.

— Подумаем, Михайло Гнатович. У меня уже два озерка есть на примете.

— Микола Панасович, только озерки или люди тоже?

— И озерки и люди.

— Поедем на табак?

— А когда же отдыхать?

— В дороге, в дороге! В машине.

— Ну можно ли так — все время недосыпать?! То собрания, то совещания, то лекции, то беседы, то поле, то диссертация — так никогда и не выспитесь!

— Уж не жена ли моя тебе нажаловалась? — засмеялся Чернега. — Все время нападает, твердит, что муж у нее живет неправильно: первую половину жизни недоедал, а теперь недосыпает.

— А на меня и напасть некому, — вздохнул Сенчук.

* * *

У озерка девушки заканчивают подкормку кукурузы и сахарной свеклы. Катерина Рымарь остановилась у дороги.

— Стою я, девушки, в кукурузе и думаю: украсит наша Мариечка грудь орденом или нет?

— Что и говорить, неотложные у тебя заботы! — отозвалась Мариечка. — Девчата, пойдемте на Черемош, а то мы мешаем Катерине думать.

— А что, и мешаєте, — Катерина провожает подруг глазами и мечтательно бормочет про себя: — А он и говорит мне: предсказываю — получишь! И отчего эти слова так понравились, так запомнились мне? Такие слова, что просто ой, ну, до того, что прямо ох!.. Девчата, хоть не начинайте плясать без меня! Давайте я начну! — И она завертелась, закружилась, догоняя подруг.

Из-за высоких лесов выплывает месяц, и оживает серебряная рябь Черемоша, озерко и земля. Прихотливая игра света и теней непрерывно меняет окраску голубых гор, и кажется — они реют в воздухе, под шум реки, под мелодию песни о каменной горе и голубях.

К озерку подходят Василь Букачук и Иван Микитей.

— Растет кукуруза-то! — удивляется Иван, искоса поглядывая на друга. — Философия!

— Да, подымается понемногу, — примирительно говорит Василь. — Только восемьдесят тогда уродится, когда в моих вихрах соловей гнездо сошьет.

— Гляди, как бы не запели твои вихры.

— Не запоют.

— Да что мне говорить с осторожным консерватором! — Иван презрительно отвернулся от товарища. — Счастье твое, Настечка, что не такого пенька полюбила. И Мариечка будет счастлива, если бросит такого.

— Может, помолчишь, верный мой товарищ?

— Могу и помолчать, ежели кое-кому не по душе любовная самокритика.

С берега Черемоша, обнявшись, летят голоса Мариечки и Настечки:

Плавала лебедка
В лебединой стае.
Крикнул белый лебедь,
К милой подлетая...
И голоса Ивана и Василя ответили:
— Ты скажи, родная,
Что тебе не спится?
Иль пора настала
Сердцу чаще биться?

Все четверо, сдерживая радость, встретились на мосту. Заговорили не словами — глазами. И вот уже одна пара поднимается на гору, другая спускается в долину. Катерина следит за этой немой картиной прощания и не может удержаться, чтобы не проговорить хоть про себя:

— Вот и разошлись на мелкие звенья.
А по мосту, обнявшись, идут с песней другие девушки.

Ой, догнали меня годы
На калиновом мосту...

* * *

Сразу же за гладью прудов виднеются красные ульи, выбегающие в розовую пену гречишных полей. Пчелы падают на медвяный клин солнечным дождем, и он звенит, как арфа.

На лужайке между прудами и полем сидят Микола Сенчук, Юрий Заринчук, Григорий Нестеренко и Ксения Дзвиняч.

— Партийное собрание? — подходя к ним, спрашивает дед Степан.

— Партийное собрание, дед. Как здоровье?

— Лучше, чем пятьдесят лет назад. Ну, чего хохочете? Не верите, что дед и работать может и в чарке ни капли на слезы не оставит?

— Верим, дедушка.

Микола, а разве можно проводить такое собрание не в кабинете, а вот так, когда вокруг пруды, поле, ульи?

— Подчас даже необходимо.

— Ишь ты! А нельзя мне, беспартийному деду, «подчас» послушать?

— Слушайте, дед Степан. — И Сенчук, увлекшись, заговорил, оттачивая каждую фразу: — Наша главная линия — чтобы и человек и природа трудились ради изобилия, радости, счастья. Эту линию обязан проводить каждый колхозник, этому пусть служит каждое большевистское слово, каждая малейшая отрасль нашего хозяйства. Это хорошо, что вы в выступлениях выводили на чистую воду все, даже мелкие недостатки. Труднее всего лечить застарелые болезни и ошибки, они разъедают радость труда, радость широкого взгляда на жизнь. Позавчера проверяли мы договора своих соседей. На полях у них порядок, а широкого взгляда на жизнь нету. Перед самым селом, как вы знаете, начинаются гнилые низины, где только лягушки задают концерты комарам. «Отчего не устроили пруды? Почему у вас тут вместо золотых стай карпа черные тучи малярийных комаров?» — спрашиваем Панаса Мартынюка.

— Мой родственник? Ишь ты! — рассердился дед Степан.

— «Пустяки!» — отмахнулся Панас. «А почему не было парников?» — «Тоже пустяки. Кое-что мы посеяли, да мороз подсек рассаду». А почему у нас не подсек? Почему нам парники дали сто семь тысяч прибыли? Потому, что надо делать природу из врага союзником. Или вот еще вопрос: почему наши соседи поставили ульи в пяти километрах от гречихи? «Глупости», — говорит кое-кто из них. Тогда мы утром взвесили контрольный улей, а вечером пристыдили правление: «Отчего ваши пчелы такие ленивые? С кого они берут пример? Медосбору за день едва сто семьдесят грамм натянули?» А когда Юрий Заринчук сказал, что его контрольный улей дает по два-три килограмма, соседи не поверили. Не поверили и некоторые наши колхозники... Сколько мы разговариваем? — Сенчук посмотрел на часы. — Два часа пятнадцать минут?

— Два часа семнадцать, — поправил Нестеренко.

— Поглядим, что нам создала природа за эти погожие часы.

Юрий Заринчук гордо повел всех к контрольному улью.

— Четыреста двадцать грамм! — удивленно вырвалось у Ксении Дзвиняч.

— Помножьте эту цифру на все рабочее время, и получится недурная арифметика. Вот как бывает, когда природа союзница, а не ленивая поденщица наша.

— Правильное собрание! — глаза у деда Степана заискрились. — Медом пахнет.

— И зерном, — добавил Заринчук. — Гречиха-то, опыленная пчелой, родит вдвое больше, а этого Панас и не уразумел.

— Я его вразумлю! — дед Степан взмахнул палкой.

Сенчук обвел взглядом коммунистов.

— Все проверили улей? Тогда продолжим беседу о главной линии, чтобы и человек и природа трудились ради изобилия, радости, счастья.

— Спасибо, Микола! — Дед Степан кланяется и поворачивает обратно в село.

Он неторопливо входит в сельисполком и обращается к секретарю:

— Дитятко, зателефонируй-ка мне сюда Панаса.

Секретарь дозванивается и передает деду трубку.

— Панас, голубчик, это ты? — ласково спрашивает дед. — Что делаешь? Сейчас в правлении сидишь? А ты знаешь, что твой дед присутствовал сегодня на партийном собрании? — старик повышает голос. — Не знаешь? И что краснел за тебя, как маков цвет, тоже не знаешь? — Он с возмущением кричит в трубку: — Отчего краснел? А оттого, что у тебя в голове и на пасеке радости нету! Где твоя прямая главная линия, чтобы и человек и природа трудились на счастье? Неужто дед должен говорить тебе про пруды и пасеку? Стыдись, бесстыдник! Да исправляйся, пока есть время, до крутого районного выговора и моей палки! — и он взмахнул в воздухе посохом.

Секретарь прыснул.

— Крутая у вас разъяснительная работа.

— Зато, дитятко, толк будет, — снова ласково говорит дед Степан. — Вот позвони еще раз Панасу. Теперь до ночи не дозвонишься — побежал работать. Я знаю своих внучат, знаю, как кого надо учить. И я их учу, и они меня еще больше учат. Жизнь!

* * *

Сизый предвечерний час созывает колхозников со всех полей на дороги. Горделивые фигуры плывут среди хлебов, и вдруг остановится кто-нибудь и глядит не наглядится на дальние нивы и на ближний колос, который доверчиво клонится к руке труженика.

— Дорогие мои деточки, какие же вы ласковые! — бормочет, стоя в хлебах, Лесь Побережник; на лице его лежит отпечаток радости, смешанной с тихой грустью.

На обочине, положив голову в междурядье, лежит Катерина Рымарь.

— Катерина, ты что делаешь? — спрашивает подходя к ней, Мариечка.

— Прислушиваюсь, как свекла растет.

Мариечка ложится рядом и прикладывает ухо к земле. А вокруг такая глубокая тишина, что и в самом деле становится слышно, как шуршит земля, подымая к небу свой зеленый праздничный покров.

— Слышишь? — Катерина влепила подруге поцелуй и снова, забыв обо всем, уткнулась лицом в междурядье.

— Слышу, Катеринка, — ответила Мариечка, потом поднялась и потихоньку пошла по дороге.

А к Катерине подошел Григорий Нестеренко. С удивлением постоял над девушкой и прилег на то же место, где лежала Мариечка. А Катеринка, ничего не заметив, мечтательно говорит:

— Я, Мариечка, так могу и до полуночи пролежать в радости да в тревоге. Тревожусь и снова радуюсь. Услышать бы мои слова земле да хорошему дождю! — Она порывисто обернулась, поцеловала Нестеренку и испугалась. — Ой, что это?

— Это, должно быть, преждевременный аванс.

Девушка с укором покачала головой.

— Уж не могли, товарищ агроном, дожждаться уборки?

* * *

За столом, обложившись книгами, сидят Катерина, Мариечка и Настечка. В хату со стеблем увядшего мака входит Василина, из-за ее спины лукаво выглядывает Палайдиха.

— Дождешься помощи от такой дочки! Мать над маком спину гнет, а она над книжками.

Катерина стала посреди хаты в театральной позе.

— Говорю вам, обращайтесь со мной не как с обыкновенной девушкой, а как со студенткой первого курса заочного сельскохозяйственного техникума.

— Как же это так? — сладеньким голоском удивляется Палайдиха. — Дочь конюха дверь в науку отворяет...

Катерина строго выпрямилась.

— А вы, тетушка, попрошу вас, затворите дверь в нашу простую хату с той стороны, и чтоб ей век не растворяться перед вами!

— Ты что ж, выгоняешь меня? — зашипела Палайдиха.

— Нет, выпроваживаю.

Василина суетливо заметалась, не зная, что делать: ругаться ли с дочкой или извиняться перед Палайдихой.

* * *

Вечер. В дальних полях подымается месяц, и на фоне его золотого диска колышутся молодые колоски. Или, может быть, это только кажется Юстину Рымарю? Он после смены так и не пошел домой и сидит на лавочке, прислушиваясь сквозь дремоту к шуму, доносящемуся из конюшни, и к шелесту поля. Колосья орошают ему лицо, щекочут его мягкой остью, и Юстин улыбочиво морщится, словно щекочут его не колоски, а ручки внуков. Из конюшни выскочил длинноногий жеребенок. Выкидывая задними ногами «фортели», он подбежал к конюху и, настороженно склонив голову набок, остановился.

— Ветерок! — тихо окликнул Юстин.

И Ветерок радостно прыгнул на конюха, положил ему голову на плечо.

— Нашептывает вам Ветерок? — спросил, подходя, Микола Сенчук.

— Как ребенок, — отвечает Рымарь и гладит жеребенка шершавой рукой.

— Что домой не идете?

— А разве я не дома? — Юстин окинул взглядом широту полей. — Теперь так, Микола: где трудятся наши руки, там и наше «дома». Так говорю?

— По-новому говорите.

— А вот жена у меня еще не понимает этого. А провести с ней агитмассовую работу я не могу. У ней, видишь ли, слов больше, хоть и пустых, а больше. «Ты, говорит, о делах заботишься, а я — о том, чтобы в хату кусок хлеба добыть». И каждый вечер, как молитву, читает мне одну и ту же лекцию. Начинает с лошадки — зачем сдал ее в колхоз? — а кончает вот этим самым жеребенком.

— И подолгу отчитывает?

— До первых петухов. А появится на будущий год еще жеребенок, так ее лекцию и рассвет не оборвет.

— Чем же ее укротить? Какая тут нужна агитмассовая работа?

— Только одна: чтобы трудодень у нас был потяжелее на вес. Такого урожая гуцул еще не видал. Работают люди как следует, дружно, по-научному, — должны же и получить что-нибудь?

— И государство получит, и люди.

— И я так воспитываю жену, а она мне одно: «Сколько свет стоит, государство получало, а мужик — нет».

— А вы ей еще так скажите: «Сколько свет стоит, всегда государство — это были господа, и у них за нас душа не болела, а теперь государство — это мы. Так разве мы

захотим, чтобы мы же сами плохо жили? Все идет от нас».

— Вот это лекция! И послушать любо. — И Рымарь, нахмурившись, шепчет в сторону, словно обращаясь к Василине: — «Цесарское государство — господа, пилсудчики — господа, только пообтрепаннее, а наше государство — это мы! Уразумела, старая? Или ты и до сей поры ничего не усвоила?»

— Готовитесь к дискуссии? — засмеялся Сенчук.

— Готовлюсь.

— Говорят, вы письмо из Америки получили?

— Да, получил, — Рымарь с неудовольствием поморщился.

— Что пишут?

— Не знаю. Не давал еще никому читать.

— Почему же?

— Да ведь радости оттуда не пришлют — нету ее за океаном. Так на что сердце тревожить? Так и ношу этот конверт, как болячку: болит, а задеть боюсь, чтоб хуже не было. — И он вынул из кармана сардака измятое письмо. — Хочешь — распечатай.

Микола разрывает конверт, освещает письмо карманным фонариком, читает:

«Дорогой Юстин, пишет тебе твой самый младший брат и кланяется родному краю до самой земли. Тут мы прочитали, что в нашем селе советская власть выстроила больницу и школу-десятилетку. Прочитали — и не поверили».

— Ума у него столько же, сколько у моей бабы. Да и того еще поменьше. Старуха моя, как выстроили больницу, побежала на прием сразу во все кабинеты. И каких только она не выдумывала болезней, лишь бы увидеть собственными глазами всех врачей и весь инструмент. А хвороба-то у нее одна — выше-средний прирост языка. Вернулась из больницы, напыжилась, как засватанная, — ведь подумать: за один раз больше ученых людей осмотрели ее немощи, чем за весь век. И даже лекарства выписали ей такие, что ото всего помогают. Пьет их и не нахвалится: теперь, мол, сапка сама полет, так и рвется из рук... И что, думаю, за лекарства для здоровой бабы? Попробовал — и что бы ты думал: сода. Чистехонькая сода! Разгадала больница мою жену за один раз лучше, чем я за все молодые годы. Наука! Так что теперь, как начнется у меня после чарки изжога, я тоже эти лекарства пью...

— «Неужто, думаем мы, — продолжает читать Сенчук, — дослужился гуцул до такой чести, что может в своем селе и здоровье беречь и гимназию кончать?»

— Темный ты, брат, человек, как земля темный. Затуманили тебе на чужбине мозги, заморочили голову.

— «Напиши, брат, правда ли все это? Может, и в самом деле порадуешь гуцулов, а то гибнем мы тут, вдалеке от родной земли, как те серые журавли, что на юг летели, тепла искали. А нам вас утешить нечем, да всего не напишешь. Передайте Ксене Дзвиняч, что мужа ее уже нет на свете. В шахте погиб. Не родной землей засыпало его, а чужим черным углем. Разделил я ту горсточку земли, что вывез из Гуцульщины и на груди берег, разделил и бросил половину в ту шахту. Думается мне — душа человека должна найти свою землю. А потом помянули мы покойника любимой его песней «Слышишь, бедный брат», да и все».

— Эй, Микола, лучше б не получать нам из-за океана этих горьких слез... А сколько их по нашей Гуцульщине... Вот уже и Ксения Дзвиняч стала вдовой... А ведь я ее на руках носил, про кота ей пел...

— Начитались мы американского послания, сыты по горло, чтоб жены наших врагов получали такие письма... Искали наши бесталанные журавли тепла за морем, а нашли могилу.

— Микола, помянем и мы Юру его песней.

Рымарь снял картуз и не запел, а как будто спросил через море своего брата, слышит ли он его:

Слышишь, бедный брат,

Бесталанный брат,
К югу, к югу серой стаей
Журавли летят.
Кличут: кру-кру-кру...
Вдалеке умру,
Пролетая через море,
Крылья изотру.

— Слышишь, бедный брат, слышите, журавли наши, не стирайте свои крылья до кости, не умирайте вдалеке, на чужбине, — есть уже теплый край на свете, туда, только туда вам путь лежит. Слышишь, бедный брат? — и по морщинам старческого лица расползаются слезы.

* * *

Катерина и Григорий стоят на мосту. Под ними искрится река, над ними сверкают в лучах заката облака и горы.

— Григорий, родной, — девушка склоняет голову на плечо любимому, и это уже не та задорная непоседа, какой он запомнил и с затаенным страхом полюбил ее.

— Что, звездочка? — Григорий обнял милую, поднял ее на руки и понес в просторы нив. — Что это так вызванивает в полях? — вдруг спросил он, останавливаясь на миг.

— Это мое сердце, — смущенно отвечает Катерина. — Григорий, пусть, мне стыдно...

— Катеринка, твое дело — молчать. Никого не видно?

— Никого, — прошептала девушка, глядя не на дорогу, а на своего любимого.

Они и не заметили, как подошел Юстин Рымарь.

— Отец? — Катерина испуганно рванулась из рук милого.

— Что, доченька? — Рымарь с грустью посмотрел на дочку и с неприязнью на Григория.

— Что это с вами? Вы будто увяли за вечер...

— Много ли надо, чтоб затужило старое сердце!

— Опять американское письмо?

— Опять. А ты что не дома?

— Мы к вам шли!

— Ко мне? — он недоверчиво посмотрел на обоих.

— К вам... отец, — Григорий открыто поглядел прямо в глаза старику. — Не дошли бы сегодня — дошли бы завтра, послезавтра...

— Сын мой?

— Сын!

— Что ж, счастливо вам, детки. Отворяйте двери в науку и в счастье. Пусть славятся теперь и мужицкие имена.

* * *

В пустую хату входят Ксения Дзвиняч и Олена Побережник.

— Ксения, любушка, так у меня тяжело на сердце, так тяжело, словно его кто обручами сдавил.

— Что это вас такая тоска одолела? Может, поле вас печалит?

— Нет, родненькая, поле стоит, как Дунай. Все за Леся боюсь. Отбивается от моих рук, как мальчишка, когда парнем становится.

— А что же ему все время за ваши руки держаться? Он бригадир, работы у него много, не зря он с людьми время проводит.

— А вдруг разлюбит он меня?

— Лесь вас разлюбит? — Ксения засмеялась.

— Может и разлюбить. Недаром же он меня в другую бригаду отдал, словно за другого замуж выдал. Недаром?

— Недаром, Олена.

— Эх, жите мое несчастливое! И как я век проживу в горе да в беде?

— Хорошо проживете, — улыбнулась Ксения, — если будет у вас к Лесю другой подход. Не учите вы его на каждом шагу, как маленького.

— Да как же его не учить?

— А может, тогда и он вас, Олена, кое-чему поучит.

— Меня? — удивилась та. — Чтобы меня Лесь учил?

— А почему же нет? Может бригадир учить звеньевых...

— Так ведь я ему и звеньевая, и хозяйка, и жена. Имею я право...

— А вы, Оленка, не очень своим правом козыряйте, чтоб не всегда брать верх, да еще при людях. Ей-богу, поможет, и Лесь полюбит вас еще крепче.

— Правда, Ксения... Стало быть, надо мне сократиться?

— Только кое в чем. Да разве вам самой не видно, что вы кое в чем сократились, а кое в чем раздались, выросли! Как и все у нас. Плохого в нас становится все меньше, а хорошее растет.

— А и правда, Ксения, — сказала Олена и задумалась. — Спасибо тебе, миленькая. Пойду встречать своего Лесья.

— Добрым словом?

— Добрым, Ксения, как когда-то, в давние времена, встречала. И почему это, Ксения, забываются, вянут давнишние слова, обещания, надежды? Сколько мы с Лесем когда-то над Черемошем сидели, а поженились — и ни разу не пошли под те кудрявые деревья, когда весенние ручьи зашумят, когда соловьиные песни ночь всколыхнут.

— Потому, что так жизнь складывалась. Вы не ходили потому, что надо было вам с Лесем с утра до ночи на помещика работать, а я не ходила потому, что не с кем было. Вы-то хоть теперь можете пойти, а когда я дождусь своего Юру?..

— Ты Юру не можешь дожидаться, а я ребенка, — вздохнула Олена. — И ведь вот-вот должен уж был родиться маленький... да надорвалась я, и выпал он на чужое поле, как зернышко окровавленное. Выпал, и вроде как бы умерло во мне самое дорогое — матерью я не стала. — И Олена застыла посреди хаты, охваченная сидениями пережитого.

— Оленка, а вы к врачам ходили?

— И к шептухе и к врачу.

— И что?

— Шептуха деньги берет да шепчет, а врач без денег обнадеживает. И прислушиваюсь я теперь к себе, как к дальнему отзвуку грома: вдруг да откликнется драгоценная струна? Даже по ночам прислушиваюсь, так жду, так жду, что одни слезы мои знают про то.

Олена, попрощавшись, ушла, а Ксения, поправив привычным движением платок, остановилась перед фотографией мужа. На длинных ресницах блеснула слеза, и женщина, чтобы подавить рыдание, вышла из хаты.

В село вместе с вечерней прохладой заползали запахи сыреющих трав, за лугами до самого горизонта волновались поля.

Над нивами колышется, бродит обманчивое сияние, и никак нельзя сообразить, нивы ли это молодые излучают вокруг волшебную прозрачную прозелень или это светит неутомимый месяц. Вот он сказочным светом озарил три дорожки, уходящие в хлеба, и одинокую фигуру Ксени Дзвиняч.

Ой, во поле три дорожки разных...

Издалека наплывает песня, и колоски переплескивают ее все дальше и дальше вглубь ночи. Хлеба, волнуясь, поблескивают россыпью рос, и на глазах вдовы дрожат две росинки. Ксения спускается с пригорка и внезапно встречается с Миколой Сенчуком.

— Ксения, это ты?

— Я, Микола.

— Чего так поздно ходишь?

— Хочу на нивы посмотреть. Как славно вокруг! Так, кажется, и слышишь, как на росистом поле зерно завязывается.

— Славно!

— Вернуться бы сюда Юре, увидеть бы, как наши руки землю выхаживают... Вот будет радость, Микола, когда со всех концов начнут возвращаться к нам люди, разметанные горем-несчастьем по белу свету! Вот будет радость и для них и для нас... Придет такое время, Микола?!

— Придет, Ксения, — и он неловко закрыл рукой глаза.

— Микола, родной... не надо... Пожелаем добра и чистой силы нашим людям, где бы они ни были, где бы они ни мучились, — по-женски ласково и скорбно успокаивает Ксения Сенчука.

* * *

Та же хата, те же убогие стены, те же маленькие окна, сквозь которые пробиваются косые голубые струйки солнечного света. Изменился только красный угол — не глядит из него потемневший лик угодника. Как завесила его Ганна Стецюк поздней осенью, так и стоит он, наглухо отгороженный от жизни семьи. Младшее поколение вовсе равнодушно к нему, а старшим сперва было боязно, потом неловко, а потом они привыкли отводить от него глаза, как от непрошенного свидетеля. И даже когда, по привычке, доводилось креститься, Дмитро Стецюк отворачивался в сторону от божницы и, сужая крестное знамение, так проворно орудовал рукой, словно прятался от образа.

Настечка, видя это, лукаво поднимала правую бровь, косилась на брата, тот фыркал и стремглав бежал к двери, чтобы всласть нахохотаться в сених. Отец в такие минуты гневался на детей, утверждая, что у них в пустых головах ветер гуляет. Ганна покорно соглашалась с мужем, но при этом так смотрела на детей, что тех еще больше разбирал смех.

— Ты что же, Ганна, с ними заодно?! — переносил Стецюк возмущение на жену.

— И-и, скажешь тоже! — удивлялась Ганна. — Ну как я могу быть с ними заодно, когда они такие озорники, такие дерзкие, такие передовики, что ой-ой!..

После такой поддержки Дмитро смягчался и сам уговаривал жену не тревожить сердце — дети у них хоть и непослушные, а все не хуже, чем у людей. Правда, последнее время ссоры и раздоры почти вывелись в семье Стецюков. Великое дело, когда человек начинает верить в то хорошее, что творится вокруг! А вокруг творились необыкновенные дела, и на новую ниву или, скажем, на участок Настечки теперь тянуло, как прежде не тянуло на собственный клочок земли. Дмитро уже не избегал Миколы Сенчука, а часто сам разыскивал его, вступал в беседу и почти всегда заканчивал разговор одинаково:

— Что ж, вижу, можно хозяйствовать в колхозе, только бы осенью не отобрали весь хлеб.

— Про одно спели, да про то же и затынем, — смеялся Сенчук.

— Неужто Настечка и сахар получит за свеклу?

— Неужто вам и сказать поумнее нечего? — в тон отвечал председатель. И слова его, хоть и насмешливые, на некоторое время успокаивали Дмитра.

Вот и сегодня Сенчук сидит в хате у Стецюков. Все по-крестьянски сдержанно перебирают в памяти поля, радуются урожаю, но Дмитра так и подмывает спросить, что же будет после уборки.

— Ну, задавай уже свой вопрос, Дмитро, чтоб он тебя не мучил, — прищурясь, говорит Микола.

Все смеются, а Дмитро вздыхает и не задает свой вопрос. Раз уж над ним смеются, он может и о другом сказать.

— Слышь, Микола, хороший у нас агроном, даром что молодой. Вчера встретился с

ним на участке у Настечки. И что, думаешь, он сказал? Уже теперь нива веселит его, уже теперь ясно, что даст самое меньшее по пятьдесят центнеров. Мы тогда и на подводе не доведем на гору нашу кукурузку за трудодни.

— Несколько подвод дадим!

— А кукурузу тоже дадите? — вырывается у Дмитра все тот же вопрос, и хату снова оглашает смех.

— Вы не смейтесь! — горячится Дмитро. — У меня тоже голова работает.

— А как же! — лукаво подтверждает Сенчук, но Дмитро не сердится.

— Хоть ты и смеешься, Микола, а все-таки мне спокойнее уже оттого, что ты тут, поблизости, — вдруг заговорил с благодарностью Стецюк. — С тобой я верю в то, что уже делается, а доживу — поверю до конца и в то, что будет.

Эта простая исповедь взволновала Сенчука. Он знал, чего она стоит в устах человека, еще недавно запуганного, искоса страдальческим взглядом озиравшего по сторонам.

— Тогда, Дмитро, имей терпение, — и Сенчук положил руку на плечо односельчанина. — Во всем ты прав, кроме одного: всю жизнь ты бедствовал...

— Всю жизнь, — грустно кивнул Дмитро.

— А теперь ты ставишь колхозу требование — за один год подняться к зажиточности. А это не всегда так бывает, встречаются трудности....

— Так, стало быть, мы ничего не получим, а ты же говорил... — забеспокоился Дмитро.

— Вот я и говорю про характер таких, как ты: чуть потруднее станет — вы уже и затряслись с перепугу да от недоверия. Никогда не надо терять головы... Осень нас непременно порадует, — больших ошибок мы, кажется, не наделали.

— Ну и я о том же говорил, — с облегчением вздохнул Стецюк. — А про ошибки и слышать не хочу. На что они сдались гуцулам!

— Ну и выметай из своего сердца и ошибки и сомнения, а то тебе эти союзники не только работать — и спать-то не дадут!

— Мало я их выкинул! Весь кулацкий скулеж похоронил, как бешеного пса. Доберусь и до остатков! — горячо заявил гуцул, и никто уже не засмеялся.

На дворе потемнело. С гор налетела стайка туч, они сбились в кучку, сами не зная, что им делать. Помогло солнце — пронзило их толщу лучами, трянуло темную кипень, и она пролилась золотым дождем, открыв глубину небес.

— Какие же у нас трудности? — допытывался Стецюк.

— Скотина непородистая у нас.

— Зато свиньи растут, как коровы.

И вот уже будничные заботы перемешиваются с праздничными надеждами, и взор Стецюка тянется не только к осени, а значительно дальше. Нет, в самом деле хорошо, что рядом есть Микола.

Незаметно подкрался вечер, рассевая росы и звезды. Сенчук стал собираться домой.

— Погоди, Микола, взгляну на всякий случай, что делается на дворе.

Дмитро вышел из хаты, внимательно огляделся вокруг и стал спускаться лугом на дорогу.

И тут на него налетели запыхавшиеся бандеровцы.

— Сенчук у тебя?! — спросил Бундзяк, вплотную подойдя к Стецюку. От Бундзяка несло застарелым потом и водочным перегаром.

— А чего ему у меня сидеть? Что у него, в колхозе дел мало?

— И ты уже, падаль, врать научился! — Бундзяк с размаху ударил гуцула по зубам, и рот Стецюка окрасился кровью. — Теперь скажешь, где Сенчук?

Стецюк с тоской посмотрел по сторонам и, потупясь, едва зашевелил искалеченными губами:

— Скажу. Беру грех на свою душу.

— Так говори проворнее! — дернул его Наремба. — Говори, пока мозги в голове целы.

Или хочешь, чтоб я их собакам скормил?

Гуцул нахмурился и смело посмотрел на бандита.

— На что ж тебе, Пилип, кормить собак моими мозгами? Собаки-то и без того умнее тебя!

— Убью! — зашипел бандит, поднимая карабин.

— Постой, некогда, — оттащил его Бундзяк. — Дмитро, где Сенчук?

Гуцул вздохнул, вытер кровь ладонью, нагнулся к Бундзяку и зашептал:

— Прошу вас, только никому не говорите... Весь день Сенчук просидел у меня, обедал, агитировал, а теперь пошел агитировать деда Олексу.

— И давно ушел?

— Да нет, недавно. В лесу и нагоните.

— Наконец Сенчук не убежит от нас!

Бандиты, как тени, скользнули в овраг.

Стецюк приложил к губам рукав, промакнул кровь и поплелся в хату.

— Дмитро, что с тобой? — встал ему навстречу Сенчук.

— Ничего, Микола, — спокойно ответил он, и внезапно его сухое лицо озарилось спокойной улыбкой. — Хорошо и то, Микола, что возле тебя есть Дмитро, который не теряет головы.

* * *

Берегом Черемоша возвращаются с сенокоса колхозники. На девичьих косах пламенеют венки, у парней крысани украшены луговыми цветами.

Юрий Заринчук, углядев на ручейке Олену, смеясь, обращается к Лесю:

— Видите, Олена никак не может дожждаться вас.

— И я ее, — кивает Лесь. — Ты, Олена, не меня ли на бережку высматриваешь?

— Постыдился бы ребячиться... Лесь, что я хочу тебе сказать, — и она тянет мужа за рукав.

— Ты куда ведешь? — Лесь смущенно озирается. — Люди засмеют.

— А ты сам не засмеешься?... Лесь... Ой, сердце вот-вот вырвется из груди. — Она смотрит на мужа счастливыми глазами. — Лесь, я почувяла...

— Правда, Оленка!?

— Правда, правда, муженек.

— Почувяла? — растерянно переспросил он. — Оленка! И мальчик?

И жена с великодушной снисходительностью ответила:

— Кажется, сынок, тракторист...

И прильнула к мужу, как в давние вечера. А он с немой благодарностью поцеловал жену в полузакрытые глаза и, охваченный надеждами на будущее и воспоминаниями о былом, бережно повел ее под кудрявые, постаревшие без них деревья, где рождалась их любовь.

— Оленка, мне верится и не верится, — Лесь остановился и снова поцеловал жену, чувствуя, как падают им на руки капельки росы с молодых колосьев.

— И мне порой не верится. Верно, так всегда: долго-долго надеешься, а потом приходит... — глаза у Олены заблестели.

А вокруг колышутся и колышутся нивы, словно разнося по всей земле весть о рождении простой человеческой радости.

И вдруг чуткое ухо матери уловило в этом спокойном шелесте чуждые звуки, — казалось, шуршит какой-то осторожно катящийся клубок.

— Лесь, кто-то ползет в хлебах.

— Это, должно быть, еж, — ответил Лесь, не прислушиваясь, погруженный в мысли о сыне.

— Ой, Лесь! — вскрикнула Олена, охваченная ужасом.

Перед ними с оружием наготове поднялась черная квадратная фигура Нарембы.

— Здорово, Лесь! — бандит засмеялся. — Ты что, здороваться разучился? Может, еще раз скажешь, кого огреть хотел и кому каюк придет? Может, повторишь, что ты мягок, да силен? Молчишь... Так замолкай же навеки...

— Пилип, побойся бога!.. — вскрикнула Олена. — Я матерью буду...

— Коммунистов плодить собралась? Будь уверена — твой выродок света божьего не увидит... Ну, кого ж из вас первым на тот свет перевозить? Страшно, Лесь?

— Не страшно, — гордо ответил Побережник.

— Это почему же, мягкая душа? — искренне удивился Наремба, и в самом деле не видя испуга на лице гуцула.

— А потому, что ты, собачья кровь, стрельнешь в меня, а помрешь сам!

— Это что еще за побасенка? — захохотал бандит.

— Погляди, вояка, — презрительно отрезал Лесь, — на дуло своей игрушки. Оно все землей забито. Стрельнешь — разорвет вместе с твоей головой.

Наремба повернул к себе дуло автомата. И тут Лесь молниеносно саданул бандита в переносицу, а оружие дернул к себе. Наремба потянулся за Побережником и вдруг резко откинулся назад, неловко нащупывая курок. Лесь отвел дуло от себя, нагнул его вниз.

Шальная пуля прострелила дорогу, и четыре руки мельницей завертелись вокруг обреза. К нему потянулась Олена, но ее сразу сшибли с ног, и она со стоном упала, видя, как над нею, над нивой стремительно мелькают руки и оружие. Вот обрез подпрыгнул вверх, и Лесь изо всех сил ударил Нарембу прикладом по голове.

— Лесь, не убивай! — Бандит схватился руками за голову, присел и внезапно бросился на бригадира.

Но Побережник во-время отскочил в хлеба и снова ударил Нарембу автоматом.

Бандит обмяк, пошатнулся и неуклюжей раскорякой упал на дорогу.

— Не убивай, Лесь... — застонал он в безнадежности, не веря, что кто-нибудь может помиловать его.

Побережник гневно навел оружие на врага.

— Лесь, не карай, пусть его люди покарают, — подошла к мужу Олена.

Бригадир тяжело перевел дух, опустил оружие на теплую, живую волну колосьев, выпрямился.

— Будь по-твоему, Оленка. — И он вдруг улыбнулся. — Видишь, мягок я до поры, а силен всегда...

* * *

Под высоким небом золотятся высокие волны полей.

Лесь Побережник швырнул картуз на колосья, они прогнулись, заколыхались, и картуз повис, как гнездо.

— Урожай! — улыбаясь, проговорил Юрий Заринчук.

— Урожай! А ведь это только наши первые шаги. Каков же он дальше будет? — рассуждает Микола Сенчук.

— Как синее море.

— Идет! Идет! — и Лесь бросается навстречу комбайну, за которым тянется полсела.

Вот машина заходит на поле, и Олена, со страхом поглядывая на хедер, обращается к Павлу Гритчуку:

— Павлусь, ты гляди, осторожненько, осторожненько, чтобы хведер не обломился.

— Хедер, — поправляет Павло.

— Я же и говорю — хведер. Не обломится?

— Увидите.

И Олена, Юстин Рымарь, Юрий Заринчук, Лесь Побережник, Савва Сайнюк, Микола Сенчук заворуженным взглядом следят за тем, как то самое поле, где еще сегодня пели

перепелки, сгибается под крыльями мотовила и превращается в золотой поток колосьев и зерна.

А вокруг стрекочут косилки, поют косы; женщины бережно пеленают в рядна снопы, поднимаются копенки, растут скирды, пчелиным роем гудит молотилка, снуют нагруженные зерном машины, и солнце озаряет радостный труд и лица тружеников.

За комбайном семенит и дед Олекса; он ко всему присматривается, все проверяет, нет ли где обмана... Все вроде бы хорошо, нехорошо только, что люди подсмеиваются над стариком.

— Дед Олекса, что ж теперь скажете про комбайн? — подходят к нему Григорий Нестеренко и Юстин Рымарь.

— А что я скажу? — разводит руками старик. — Ежели господь бог так хочет, пусть так и будет!

По полю разносится веселый смех, и даже сам дед Олекса не может сдержать улыбку: ну что тут поделаешь, такие времена настали...

* * *

Юстин Рымарь прямо с поля весело шагает домой обедать. Услыхав монотонный стук в овине, Юстин отворяет калитку. На гумне растрепанная Василина толчет вальком маковки.

— Тоже молотьба! — хмыкнул муж.

Василина, ничего не замечая, переползает на коленях с одного края тока на другой. И вдруг изъеденный червями валец переламывается и летит в порожний загром.

— Тьфу! — Василина вдогонку кидает и ручку.

— Сломалась машина? — насмешливо спрашивает муж, глядя на жену сверху вниз. — Может, механика из МТС вызвать?

* * *

Солнце примостилось на самой полонине, и в его лучах пролетает с печальным курлыканием журавлиный клин. По горным тропам, по оврагам плывут и плывут отары овец, стада коров, и мелодичные колокольчики оповещают Верховину и низ, что на полонине уже первый снежок вышивает крестиками прошвы троп. А в долинах еще колыхается красочным маревом теплынь; еще обманутые пчелы падают на красные яблоки ионатанки²⁵, принимая их за цветы; еще возле сушилки медвяно пахнет табак в папушах, а по берегам прудов в сетях вздыхают солнечные слитки рыбин.

Того и гляди, пруды дадут по рыбине на трудодень, и это, ей-богу, недурно! — Юрий Заринчук любовно взвешивает на ладони широкого карпа, и рыбина больше радуется ему, чем золотой самородок.

— Так и я первые кирпичины взвешивал, — улыбается Савва Сайнюк. — Сам знаешь — глина, обожженная глина, а любишься ею, как самоцветом. Вот житье!

— Житье! — соглашается Заринчук. — Какой же урожай у Мариечки?

— Небывалый! Плывут и плывут возы. А початки с мою руку. Так и смеются, желтозубые, любо глядеть.

* * *

Сперва из хаты выскакивает поросенок, за ним, размахивая скалкой, разъяренная Василина.

— Чтоб ты сдох! — Женщина колотит поросенка, и визг разносится по всему двору.

²⁵ Ионатан (джонатан) — сорт яблок.

С улицы весело входят Юстин и Катерина.

— Опять молотья?

— Вам смех, а мне горькие слезы. — Василина чуть не плачет. — Приготовила маку на базар, а это несчастье проклятое опрокинуло всю кадушку с маком в бадью, чтоб ему подавиться, чтоб ему околеть до вечера...

— Испортил всю коммерцию? — смеется Юстин.

— Молчи, а то и тебя скалкой огрею!

— Из меня все равно маку не выколотишь!

И чем раскатистее хохочет Юстин, тем больше сердится Василина. Наконец, плюнув, она швырнула скалку на поленницу дров, подошла к воротам и выглянула на улицу. Юстин и Катерина окрылись в дверях хаты.

— Опять поругались? — любезно осведомляется через плетень Палайдиха.

— Лучше бы уж ругались, а то смехом досаждают больше, чем руганью. Это что за подводы завернули сюда?

— Опять, наверно, колхозное на мельницу везут.

— Все на мельницу да на мельницу. А нам хоть бы пудик подбросили.

— Подбросят... на том свете угольков.

— Как здоровье, тетка Василина? — весело приветствует ее с воза молодой ездовой.

— Совсем бы хорошо, ежели бы ты мне, Михайлик, сбросил с воза хоть пуд зерна.

— А что ж, можно.

— Э?

— В самом деле.

Василина беспокойно огляделась вокруг.

— А никто не узнает?

— Никто. Ребята не скажут, — он оглянулся на усмехающихся возчиков. — Вот только бы Палайдиха не развонила на все село.

— Она словечка не проронит... Так что вы мне даете? — И Василина, еще не доверяя, подошла к возу.

— Что? Ну хоть бы вот этот мешок.

— Целый мешок?

— А чего ж делить его. Донесете?

— Отчего ж нет!

— Я знаю — вы не раз по врачебным кабинетам ходили.

— И они мне, милый, так пособили, что я теперь могучая, как гром на полонине.

— Ну, раз так — несите.

Василина, согнувшись, подхватывает на плечи мешок и, как молодая, бегом несется в чулан под одобрительный хохот возчиков и Юстина с Катериной, которые, стоя на пороге, наблюдают всю сцену.

— Михайлик, а может, ты и мне мешочек скинешь? — подходя к возу, просит Палайдиха.

— Нет, не скину.

— Что же я, хуже Василины? — Палайдиха багровеет от гнева, не замечая, что соседка уже возвращается к воротам с пустым мешком.

— Что ж, и хуже!

— Хуже? А вот я побегу к Сенчуку и все ему расскажу! Слышишь?

— Бегите хоть в тартары!..

— Будешь ты меня помнить! — Палайдиха кинулась прочь, а Михайлик широко растворил ворота, и воз въехал во двор Рымаря.

— Михайлик, ты что делаешь? Люди же увидят... Михайлик! — закричала, оторопев, Василина.

— И пускай все видят! Это мы вашей семье трудодни привезли! Ешьте на здоровье!

Женщина окаменела от неожиданности. Вокруг поднялся хохот.

— Что ж это делается? — наконец вырвалось из груди Василины.

— То делается, что я тебе во все агитмассовые вечера до первых петухов втолковывал. Поняла теперь, что такое советская власть? — гордо объясняет Юстин, наконец победивший жену в нелегкой дискуссии.

— Так, так, — словно спросонок говорит Василина, и вдруг в глаза ее заползает страх. — Юстин, а может, это не зерно, а агитация?

— Есть у тебя, старуха, что-нибудь вот тут? — Рымарь постучал пальцем по лбу.

Но и этот красноречивый жест не успокоил женщину. Поправив платок, она метнулась в чулан, заперла его на замок, сунула ключ за пазуху и выбежала на улицу. Тут ее голова завертелась во все стороны, а глаза раскрывались от удивления все шире и шире, она готова была и плакать и смеяться.

По всему селу растекались подводы, нагруженные мешками. Ездовые, придерживая груз, выступали, как женихи, останавливались у ворот и обнимались с веселыми хозяевами.

Гуцулы, гуцулки и гуцулята встречали праздник своего нового труда, прислушиваясь к радостному говору села и звону зерна.

Вот посреди двора растерянно стоит Савва Сайнюк.

— Никогда еще моя хата не видала столько хлеба. Куда же я его сложу? На чердаке тесно.

— Новые заботы! — смеются ездовые. Они весело залезают на чердак, и он поскрипывает, прогибается под их ногами. — И впрямь нельзя сюда хлеб засыпать, — хмурятся парни. — Что делать?

— А вы, детки, снесите его в хату, что же делать человеку?

Гуцулы засмеялись, схватили первый мешок, и зерно обрызгало золотом все сени.

— Не посыпайте еще у вас так, дедушка?

— Не посыпайте, — глаза старика подернулись влагой.

Застыв у дверей, он с недоверием наблюдает, как его хата по самые окна заполняется зерном. Может, это сон? Проведешь рукой по лбу — и развеется, как туман: по долине.

А когда возчики уехали, старик еще раз осмотрел свое добро, снял старенькие, порыжевшие сапоги, вымыл натруженные ноги и сел на порог, задумчиво перебирая руками силу земли.

До самых сумерек сидел он так, а когда в хату заглянул вечер и осветил каждое зернышко, как драгоценный самоцвет, дед, не запирая дверь, вышел в поле...

За облаками бродил месяц, изредка озаряя одинокую фигуру Саввы Сайнюка. Согнувшись, старик выкапывал что-то из своей прежней межи. Звякнула лопата, и Савва с натугой вытащил камень; потом, оглядевшись по сторонам, он положил камень в мешок и направился к Черемошу. У самого глубокого места дед остановился, покачал головой и рывком вытряхнул свою ношу в воду.

— Савва, что это вы топите? — спросил, подходя, Марьян Букачук.

— Что топлю? Пережитки прошлого, Марьян... Волосом я был сед, а умом — дитё!..

* * *

Василина хлопочет у печки, она пробует свежий пирожок с маком, причмокивает губами от удовольствия и даже облизывает пальцы. Снаружи вбегает Катерина и оглушает мать коломыйкой:

Лучше всех живет стряпуха:
Пироги да сальце.
Сиди себе у печи,

²⁶ По старинному обычаю, на новый год в домах посыпают хозяев зерном, чтобы год был урожайным.

Облизывай пальцы!

— И оближешь — такие вкусные!.. Ешь, доченька, — и мать подносит Катерине макитру с пирожками. — Ешь, звеньевая моя золотенькая!

— Так ты уж не маком, а пирожками собралась торговать? Сколько напекла! — отзывается с порога Юстин.

— Ты попробуй сперва, а потом ворчи. — Жена ласково угощает мужа и вздыхает.

— Чего вздыхаешь?

— Ничего, Юстин. Скорей бы уж утро!

— Так на базар и тянет?

— Ой, помолчи, Юстин...

Василина не спала почти всю ночь, а ранним утром, одевшись по-праздничному, пошла с корзиной пирожков в поле.

— Люди добрые, — обратилась она к колхозникам своей бригады, — простите меня, глупую бабу. Хочу работать с бригадой.

— Что ж, становитесь, Василина, с нами.

— На всю жизнь с вами... Только попробуйте пирожков. Сроду таких не ели. Попробуйте, не побрезгайте. И еще раз простите меня, неразумную. Я уже и Миколу Сенчука просила, чтоб не глядел на меня как на элемента.

— И пирожками его угостили? — смеются женщины.

— И пирожками. Он ведь председатель... Ел и хвалил... Так уж пожалуйста! Уж такие пирожки, уж такие медовые, уж такие, что ну, да и только!

* * *

На лужайке возле импровизированных праздничных подмостков разгулялись гуцулы. Свежие голоса стелются по ранним осенним росам, а стройная музыка облетает все улицы, подбивая на пляску даже стариков. В буйном вихре закружился праздник красок, юности и красоты. Не успела рассыпаться веселыми брызгами пляска, как на середину лужайки выскочил раздурманенный Иван Микитей, крикнул музыкантам:

— Не ленись, играй! У нас славный край! Играй, чтоб и горы топотали, а в долину каблуки отлетали!

Ой, выйду я на леваду,

Посредине стану.

Одна милка несет кныш²⁷,

Другая — сметану.

А я кныш за ремень,

А сметану выпью.

Одну милку поцелую,

А другую кликну.

— Настечка, это он тебя кликнет? — хохочет Василь Букачук.

— Лучше скажи, как ты теперь глазами захопаешь, когда тебя Мариечка кликнет? — Иван снимает с головы Василия крысаню. — Слушайте, слушайте, сейчас нам споют вихры Василя, там соловей гнездо свил!

И все хохочут, глядя на смущенного лесоруба.

— Выходи, Настечка, плясать, — подлетая к своей любушке, кричит Иван.

— Не пойду! — решительно отказывается та, отстраняясь.

²⁷ Кныш — круглый хлебец с подвернутыми краями.

— Ну, выйди!

— Не пойду.

— Ну, пойдём вместе...

— Вот теперь пойду...

— Играйте Катерине Рымарь! Пусть пропляшет от Гринявки до самой столицы, а товарищ агроном пусть догоняет.

— И пропляшу! — Девушка вбежала в круг и, не касаясь земли, закружилась, завертелась, точно весенний шум.

— Сам бы сватал, не будь у меня Настечки! — восторженно вырывается у Ивана Микитея, и он с воинственным кличем снова врывается в пляску.

— Марко Сенчук и Калина Дзвиняч танцуют гуцулку! — объявляет Григорий Нестеренко.

И цветистый гуцульский хоровод с увлечением следит, как кружатся, мелькают детские фигурки, выводя стройный рисунок пляски.

— Как же ты славно пляшешь, доченька! — воскликнул Микола Сенчук, подхватывая на руки девочку.

Калина стыдливо и доверчиво припала к нему.

— Так мне уже можно вас, дядя, отцом звать?

— Зови, доченька, зови!

На глазах Ксении Петровны заблестели счастливые слезы.

— Играйте, музыканты! У дядька Леся еще новые сапоги целы! — не успокаивается Иван Микитей.

— Лесь, будет уж, — дергает Олена мужа за рукав.

— А что я могу сделать, когда ноги сами ходят! Вот видишь, не я — ноги виноваты! — и Лесь пустился в такую чечетку, что и жениным ногам стало завидно.

— Сойду с горки потихоньку

И спешить не стану.

Пеки, милка, пироги —

Вечерком нагряду.

— Напеку я пирогов,

Были б мак да масло.

Я за сито, за корыто,

А в печи погасло.

— Василина, это не про твои пироги поют? — допытывается у жены Юстин.

— А что ж, и про мои! — отвечает захмелевшая Рымариха, приплясывая и ничуть не сердясь на мужа.

А музыка то скачет-катится, то налетает горным вихрем; кружатся молодые пары, переминаются с ноги на ногу захмелевшие от желания плясать старики.

* * *

В опустевшую хижину на пастбище вошли Бундзяк, Качмала, Палайда и Вацеба.

— Обманул нас Марьян! Раньше спустился с гор, чтобы не дать дани. — Бундзяк свирепо двинул сапогом в омертвевший очаг, и над ним закружилась зола, окутав бандитов серым облаком.

— Апчхи! — Качмала растер сажу на лице. — Теперь сидит себе Марьян на колхозном празднике и смеется над нами.

— Еще заплачет он на этом празднике!

Бундзяк вылетел из хижины и с гиком вскочил на оседланную низкорослую лошаденку.

Перед бандитами, каркая, неохотно поднялась стая откормленного воронья.

* * *

Шум Черемоша и синих пихт, и над вершинами гор первые созвездия.

— Василько, все как в сказке. Даже не верится, что столько может быть радости у человека, — девушка отстранилась, чтобы лучше разглядеть лицо любимого.

— Это, Мариечка, великая правда, что человеческое счастье растет и растет, как зелень в мае... Любишь?

— Люблю, Василько, — она смутилась и улыбнулась, не сводя с него глаз.

— Чутьочку?

— Больше, чем ты меня.

— Больше нельзя, Марийка. Больше не бывает!

— Ты так думаешь?

— Не думаю, а знаю.

— Любимый мой, — и она коснулась пальцем его волос.

— Поют вихры?

— Соловьем поют.

— А заплачут филином!

В один миг на Василя навалились бандиты.

Парень рванулся, стряхивая с себя груз давно не мытых тел. Тяжело упал на землю Палайда, как пьяный пошатнулся Вацеба, а Василь в нечеловеческом напряжении схватил обеими руками за шею насевшего ему на спину Качмалу и, оторвав бандита от себя, перекинул его через свою голову на дорогу. Но тут Бундзяк с размаху опустил на голову парня приклад. Василь качнулся, перед его глазами закружился лес, вздыбилась сырая земля, усыпанная красной пихтовой хвоей.

— Василько! Василь! — девушка бросилась к милому.

Но грязные, жесткие руки отшвырнули ее, и перед нею, кривясь, морщась от боли, стал Качмала.

— Цыц, дрянцо! Твое счастье, что не до тебя сейчас — узнала бы в кустах мою любовь и ласку.

Бандиты подхватили оглушенного Василя и поволокли его к лошадям.

— Василько! — девушка, падая и подымаясь, бежала за милым.

— Отстань, девка! — крикнул Бундзяк, садясь на коня. — С нынешнего вечера о другом ночевщике думай. Ха-ха-ха!

Черные всадники, освещенные мертвенным светом месяца, погнали лошадей. А девушка, падая, вновь подымаясь, побежала за ними, роняя на землю слезы, с болью повторяя единственное слово: «Василько!»

— Голосит, как над покойником, — кусая распухшие губы, процедил Качмала.

— Так пусть лучше над ней голосят! — Бундзяк обернулся и, картинно изогнувшись, выпустил автоматную очередь.

— Василько! — всхлипнула девушка и неловко упала на дорогу.

«Проверить бы, расклевали ей пули жизнь или нет». Но неподалеку проходит Косовский тракт. Бундзяк оборачивается назад, однако тело девушки уже прикрыли тени. «Не встанет — ведь целую очередь всадил».

— Гнат, — обращается он к Палайде, — скачи скорее на тракт, погляди.

Бандит молча выносится вперед. Стены леса все плотнее обступают его и коня. Возвращается он не скоро, встревоженный.

— Что-то неладно на тракте, — говорит он, подъезжая к Бундзяку, — в лесу какие-то тени.

— Может, показалось?

— Может, и показалось. А все же надо поскорей добираться до оврага: милиция есть

милиция, и последнее время все труднее становится выскользывать из ее рук.

— Слышь, добрая душа, — насмешливо обращается Бундзяк к Вацебе, — отведи эту пададь в чашу, чтобы после не воняло у нас на дороге.

Вацеба, привязав коня к пихте, ведет в лес связанного Василя.

Бандиты, как привидения, поднимаются в гору.

— Стой тут. Убивать тебя буду.

Вацеба прицеливается парню в грудь.

— Теперь убьешь, когда руки сыромятиной закручены.

— Какое будет твое последнее желание?

— Чтоб вы поскорей сгинули.

— Ну, так молись богу, Василько, — Вацеба вздохнул.

— Это вам надо молиться — ваши тяжкие грехи ни Гуцульщина, ни люди не забудут. Кровь у вас уже не только с рук — из глаз брызжет. Родные дети и внуки, правнуки проклянут вас, как шелудивого Иуду.

— Родные дети проклянут, — лоб Вацебы морщится от боли. — А что же мне делать на свете?.. Затянули, как вола на бойню, втоптали бундзяки в кровавую грязь, и нет мне места ни на вашем, ни на ихнем берегу. А я не людей убивать хотел, я хотел свое поле пахать. — Он захлебывается словами, глотает их, словно боясь, что его грубо оборвут. — Я не продавал свою душу за кровавые достатки. Я не хотел этого...

— Правда? — Василь зорко глянул на него. — Так покайтесь!

— Да разве еще не поздно?

— Думаю, не поздно.

— И что со мной сделают? — стоном вырвался вопрос, который Вацеба не раз уже задавал себе в одиночестве.

— Я всыпал бы вам при людях розог пятьдесят по заду, чтоб разум из него в другое место перешел. А советская власть и пальцем не тронет, если искренне покаетесь, выгребете из души весь навоз и грязь.

— Правду говоришь?

— Я же не у вас учился.

— И не убьют меня?

— Если осталась в вас крошечка человеческого, сделают человеком.

Вацеба поморщился, вдруг вытащил из-за пояса нож, подошел к Василю и решительно разрезал ремень, которым были связаны его руки.

— Бери, Василь, это проклятое оружие и убивай меня либо веди к советской власти, — Вацеба передал Василю автомат и зажмурился.

— Да не терзайтесь вы! — досадливо крикнул парень. — Наслушались бундзяков и всякой погани, вот и думаете черт-те что! Пойдемте в долину, к людям.

— Спасибо тебе, сынок, спасибо! — в голосе Вацебы отозвались слезы.

— Ну, чего вы? — поморщился Василь, который больше всего на свете боялся слез.

— Разве я знаю, чего?.. Ой, крест святой, Бундзяк едет! — вдруг вырвалось у Вацебы испуганное восклицание. — Что делать, Василько, что делать?

— Бегите вниз!

Василь вскочил на лошадь и погнал ее навстречу Бундзяку. А Вацеба, держась в тени, петляя, побежал по крутому берегу Черемоша.

— Чего так долго возился? — Бундзяк, лихо сидя в седле, выезжает на дорогу.

— Как раз во-время, пане податковый экзекутор!

Бундзяк, как ворон, трепыхнулся в седле, и над головой коня взлетел автомат.

— И верно, во-время!

Бандит нажал на спуск, но выстрела не последовало.

И вдруг Бундзяку точно переломило хребет — согнувшись, он дернул за поводья и, колотя коня прикладом автомата, погнал его вверх.

— Не уйдешь, пане податковый экзекутор! Теперь не ты, а я караю.

Конь, вытягиваясь в бешеном галопе, птицей летит по извилистой горной дороге. Все сильнее звенят копыта, высекая гроздь искр, все уменьшается между всадниками зубчатая гребенка теней. Бундзяк, взвизгнув, полуобернулся, рука его с зажатым «вальтером» твердо, почти в одну точку, выпустила всю обойму.

Под Василем зашатался конь, и над его гривой яростно замелькали огоньки.

— Ой, спасите! — простуженно завопил Бундзяк.

Он резко покачнулся, сближаясь со своей тенью, но сразу же выровнялся, со страхом притронулся к раненому боку, выхватил из-за пояса топорик и принялся колотить им коня.

Заслышав выстрелы и крик Бундзяка, бандиты повернули коней и, пригибаясь к гривам, во весь дух помчались в горы. В узорах теней задымилась лунная пороша, замерцали синие стены деревьев, словно размытые игрой лучей.

— Я же говорил — милиция! Говорил же! — губы Палайды кривятся, и он плетью выбивает из лошади последние силы.

— Сколько твердили — не дразни фортуна, если она повернулась к тебе спиной... Но, но! Чтоб тебе до утра сдохнуть...

— Не бойся, сдохнет, — угрюмо пообещал Качмала.

— А Бундзяк словно и не замечал, что с каждым днем труднее выползать из подполья. Вот и доигрался.

— Может, удовлетворятся паном атаманом, не погонятся за нами, — проговорил Качмала, безуспешно сляясь перегнать Палайду.

— Хорошо бы! — вздыхает тот, подбирая новые слова; ему хочется говорить, не переставая; страх раздирает когтями грудь, расслабляет тело, даже дышать становится трудно. — Но! Чтоб тебе еще жеребенком сдохнуть... Ой, что это?!

На крохотной прогалинке что-то зашевелилось, и он метнулся назад, так осадив коня, что едва не вылетел на дорогу.

— Полоумный! — выругался Качмала. — Это же высокие пни.

Верно, как он мог забыть? Тьфу! От пота даже одежда взмокла... Свой и конский пот вьедается в липкую кожу, резкий дух его бьет в раздутые ноздри.

— А может, возьмем пониже, тропой?

— Тьфу на твою голову! — возмущается Качмала. — Бубнишь, словно перед несчастьем.

— Хоть ты не каркай!

Палайда подъезжает к прогалинке и только тут замечает, что конь под ним шатается, а с разодранных лошадиных губ срываются клочья кровавой пены. Соскочить бы на землю, дать лошади отдых, но затекшие ноги словно вросли в мокрую шерсть.

Страх Палайды передается и Качмале. Задев плечом за пихты, он внимательно смотрит вдаль, морщит лоб, и при взгляде на неживой блеск его глаз Палайда морщится. Он давно знает, что это приземистое тело, начиненное дурной болезнью, близко к распаду, но пусть оно уцелеет в нынешнюю страшную ночь.

— Может, и в самом деле повернуть на тропу? — задумчиво спрашивает Качмала.

— Тогда мы до утра не доберемся в убежище, — отвечает Палайда, в котором просыпается новое подозрение.

Качмала, презрительно смерив его неживым взглядом, плюет в кусты и бьет коня.

На прогалинке вспыхнули и погасли росы, словно развешанные гроздьями на ветвях. Впереди снова зашевелились какие-то тени.

— Ой, что это? — вырвалось теперь уже у Качмалы. Он поднял коня на дыбы, защищая себя от смерти его грудью.

Палайда почти машинально выпустил автоматную очередь и повернул в лес. Сзади что-то хлопнулось на землю, и под треск выстрелов мимо пронесся конь Качмалы. Он казался гигантом, чуть ли не вровень с вершинами пихт.

Качмала опередил Палайду. Перекрестившись, он наобум прыгнул с коня в обрывистый яр и камнем покатился в лес.

— Руки вверх! — с криком устремился за ним Борис Дубенко.

У Палайды механически поднялись руки, словно он вытянул их из плеч. Милиционеры стащили бандита с лошади, а Борис устремился за Качмалой.

— Стой, гад!

— Стою, только не стреляйте! — Качмала остановился, поднял было руки и вдруг молниеносно пустил в Дубенка очередь.

Но Борис во-время пригнулся, прыгнул и сильным ударом выбил у бандита из рук оружие.

— Ну, поднимешь теперь лапы?

— Не хочу, товарищ милиционер.

— Смерти захотел?

— А мне все равно умирать, — Качмала рванул ворот на груди, ткнул пальцами в свои язвы.

* * *

Горы, леса, небо — все вокруг срывается в какие-то невидимые пропасти. Как страшно уменьшается, ускользает мир! А мысли застывают, словно шевелятся не в мозгу, а в крутом тесте.

Конь упал под тем мальчишкой... Конь упал... Конь пал... Тьфу, что за патефонная пластинка! И вдруг земля заколебалась, перемещая на своей поверхности пьяную путаницу пихт. Неподалеку раздались выстрелы. Кто же теперь упал?..

Напрягши волю, Бундзяк приподымается на стременах, хватается за обрывки мыслей и, холодея, догадывается, что эта дорога — дорога гибели... То не звезды опустились над деревьями, то мигают ему страшные восковые свечи.

Он испуганно поворачивает коня обратно, всей пятерней цепляется за гриву, как за жизнь, и конь выносит его в промытый желобок горной тропы... Как противно и страшно становится! Все единомышленники бросили, бежали от него. Да и увидев его сейчас, они молча отвернулись бы, как от привидения. Не первый день он их знает. Он и сам на их месте поступил бы так же. Но он атаман... Да они в час опасности и головного атамана бросили бы, как плевательницу, не то что его, Бундзяка... Только монастырь, только отец игумен может спасти его. Возьмет за руку и отведет к самому богу, — нет, не к богу, а в какой-нибудь тайник, где будет пахнуть лекарствами, водкой и плесенью.

От усталой лошади валит пар, она цепляется копытами за камни.

— Шевелись, падаль, шевелись! — Бундзяк бьет ее топориком в бок.

Конь подпрыгнул, заржал, по камням зашелестела кровь.

Неужто он, Касьян Бундзяк, помрет и кто-нибудь склонится к его сердцу послушать, бьется ли, как он слушал чужое сердце?

От этой мысли ему становится жутко, словно ветви пихты сдирают с него живьем кожу. И он снова колотит коня топориком... Вынеси, вынеси хоть на святую гору! Может, там отступят дурные предчувствия и свечи засияют надеждами, как сияли они в те незапамятные времена, какие теперь кажутся только сном.

Высоко над землей темнеют очертания покосившейся церкви. Уж не разохлась ли она? Конь добегаёт до подножия горы и поднимается по той дорожке, по которой когда-то паломники подымались только на коленях.

«Хорошо ли эдак-то?» — Бундзяк не может решить и вдруг понимает: дурно, ибо сама земля невидимыми руками стаскивает его с коня.

Бундзяк тяжело падает на какие-то корни, встает и, цепляясь за отсыревшую кору буков, идет в монастырь. За поредевшими деревьями замерцали желтые блески света. Впереди — разинутая пасть церковных дверей, и там, в глубине, неровно развешаны огоньки свечек. Бундзяк напрягается, пошатываясь, подходит к дверям и заглядывает в церковь.

Там стоит высокий гроб, в ворохе последних осенних цветов покоится чье-то тело. И

Бундзяк вдруг улыбается: выходит, он явился на чьи-то чужие похороны, это кто-то другой лежит в гробу, а не он... Хорошая примета!

У покойника сложены на груди руки. Возле них по гуцульскому обычаю лежат деньги на перевоз души.

Значит, не его, Бундзяка, а чью-то чужую душу будут сегодня перевозить на тот свет. Только как бы она его не задела. Надо чем-нибудь задобрить ее... На миг суеверие сталкивается с жадностью и побеждает ее перед лицом смерти. Бундзяк нащупывает деньги, полученные от игумена, достает их, идет к покойнику, с болью кладет всю пачку возле восковых рук... Потом поднимает руку, чтобы перекреститься, но глаза его встречаются с чьим-то испепеляющим взглядом.

Немолодой гуцул с отвращением, точно лягушку, отрывает деньги от груди покойника, несет их к дверям и швыряет во тьму.

— Иудины деньги! — звучат в ушах Бундзяка гневные слова.

«Не иудины, а игумена», — хочет поправить Бундзяк, но к чему поправлять, лучше отступить подальше от мертвеца, чтобы по ошибке вместо одной души не пошло к перевозу две.

— Сын мой! — вдруг окликает его знакомый грудной баритон.

Приходя в себя, Бундзяк подает руку игумену. Тот зорко и недоверчиво окидывает взглядом углы храма, словно опасается, чтобы немые почерневшие образы святых не стали живыми свидетелями этой встречи.

Отец игумен берет Бундзяка за отяжелевшую руку, но ведет его не в царские врата, а в холод ночи.

— Мы спасем тебя, сын мой, — шелестит его голос, а глаза бегают и бегают, боясь даже самой церкви.

Страх стирает с его лица последние следы профессионального благочестия. «Заметил ли кто-нибудь Бундзяка? Заметил ли? Могло ж случиться... Тогда...» Его охватывает тревога, но он машинально повторяет:

— Мы спасем тебя, сын мой...

Игумен спасет его, поведет не к богу, а в какой-нибудь сырой тайник, где будет пахнуть лекарствами, водкой и плесенью...

Но на паперти их останавливают молчаливые люди. Игумен с ужасом узнает среди лесорубов и хлебоборов стройные фигуры милиционеров и деда Олексу. Они еще ни слова не сказали, а игумен уже отбросил руку Бундзяка, затрясся, и из недр его баритона возник необычный писк:

— Забирайте его! Забирайте!

Сперва Бундзяка поразил не столько смысл слов, сколько самый этот удивительный писк. Так из тесной скорлупы пробивается хищный птенец. Но этот писк означал иудин приговор. Ясно же сказано: «Забирайте его».

В труднейшую минуту игумен навис над его жизнью, как черная тень чернеца над мерцающим огоньком свечи.

— Тогда и его берите! — плеснул он в игумена последней ненавистью. — И все, что здесь есть, берите, — он широко развел руками и остановил затуманенный взгляд на восковых огоньках свечей...

— И вот это возьми с собой, черный чернец! — дед Олекса протянул что-то игумену, и тот внезапно узнал свои три гвоздя и отшатнулся.

— Сын мой, ты не так понял меня...

— Мы все поняли тебя, отче, как надо!

* * *

На дороге недвижно лежит навзничь Мариечка; ветерок играет ее расплетенными косами, а лунный свет озаряет глазные впадины, залитые уже остывшими слезами.

— Мариечка... Слышишь, Мариечка?... Это я, твой Василь, — склонившись над любимой, повторяет парень. — Мариечка, не слышишь меня...

Охваченный скорбью, он поднимает девушку на руки и несет ее мимо притихших лесов, не чувствуя, как на дорогу и на девушку падают из глаз слезы. На лицо Мариечки легла первая снежинка. Василь для чего-то сдул ее и не заметил, как на то же место упала слеза.

* * *

В кабинете начальника милиции сидит Вацеба, и глаза его то проясняются, то темнеют.

— Трудом, только честным трудом вы сможете искупить свой тяжкий грех, — медленно говорит начальник милиции; его утомленное лицо бороздят морщины раздумья.

— Как вол буду работать... Как черный вол.

— Работайте, как человек и думайте как человек. Ну что же, гражданин Вацеба, сейчас идите домой.

— Домой? Так я пойду домой?

— Домой. К своей жене и детям. Мы уже их предупредили.

«Деточки мои родные, маленькие мои, как же вы встретите проклятого отца?..» — на воспаленных глазах заблестели слезы.

— Товарищ высокий начальник, дайте же мне хоть поцеловать вам руку.

— Родную колхозную землю поцелуйте за то, что простила вас, — тихо проговорил начальник милиции.

— Товарищ высокий начальник, ну, чтоб легче было, всыпьте мне хоть полсотни розог, — Вацеба встал, готовый с благодарностью принять наказание.

В ответ раздался веселый смех.

Во двор Вацеба вышел, как пьяный, покачиваясь и останавливаясь через каждые несколько шагов, кажется даже от прикосновения легкого снежка. Вот он обернулся, стал и словно врос в землю.

— Так я могу идти?

— Можете хоть бежать...

И эти слова расковали его. Он быстро вышел на дорогу, поднял руку, чтобы перекреститься, но раздумал и со всех ног побежал домой, навстречу новой жизни.

А начальник милиции с тревогой в сердце свернул к больнице. Он не решился спросить по телефону, как здоровье Мариечки Сайнюк. Лучше уж самому подойти к докторам, с надеждой заглянуть им в глаза...

В темноте шуршит под ногами снег, и в полосах света, льющегося из больших освещенных окон больницы, стройно пляшут ослепительные снежинки. На ступеньках, как усталый дед мороз, сидит в глубокой задумчивости Савва Сайнюк, даже не замечая, что рядом присел Василь. Начальник милиции застывает возле них, не отваживаясь зайти в больницу. Тяжело тянется время, а снег все метет и метет, засыпая молчаливые фигуры. На пороге появилась молодая девушка в белом халате, и Василь напряженно вскочил, обернулся к дверям.

— Дед Савва, где вы? — спрашивает девушка, вглядываясь во тьму.

— Тут я, — грузно подымаясь, отвечает старик и с волнением смотрит на врача. — Что скажешь, доченька?

— Ступайте в помещение, замерзнете.

— Дитятко, как Мариечка?

— Вот, вынули у нее из груди, — она положила старику на ладонь несколько маленьких продолговатых пуль.

— На что же ты мне даешь эти черные зерна смерти? — На опушенных снегом ресницах старика заблестели слезы. — Нет уже Мариечки?

— Не плачьте, дедушка, — она поцеловала старика. — Все, все сделаем... Завтра —

Михайлу Гнатовичу обещали — самолетом отправим Мариечку прямо в столицу.

* * *

На бугре, приложив руку к седым бровям, стоит дед Степан, а над ним, трепеща крыльями, поет ранний жаворонок.

— Дедушка, вы кого высматриваете? — кричат ему правнучата, окружая деда целым табунком.

— Весну, детки.

— А идет она?

— Спешит, деточки!

— А это не она? — дети с шумом бросаются навстречу празднично разодетой Катерине Рымарь, которая вместе со свадебной подружкой поднимается на бугор.

Приложив руки к груди, девушка низко кланяется старику.

— Отец просил, мать просила, и я вас прошу прийти на свадьбу.

— Спасибо, жаворонок мой...

* * *

В кабинете Михайла Гнатовича смущенно переминаются с ноги на ногу Настечка и ее свадебная подружка.

— Отец просил, мать просила и я вас прошу приехать на свадьбу.

— Спасибо, весняночка!

* * *

Денис Иванович Макаров, широко улыбаясь, идет навстречу Мариечке и ее свадебной подружке.

— Мариечка, снова обмен натурой? Ты мне орешки, а я тебе трактор?

— Нет, Денис Иванович, — ответила девушка, кланяясь. — Дедушка просил, братец просил, и я, и весь колхоз просит прийти на свадьбу.

— Спасибо, первая наша звездочка! Можно тебя поцеловать?

— Откуда ж я знаю?

— Что ж делать? И ты не знаешь, и я не знаю. Кого же спросить?

— Можно Василя моего, — весело улыбается девушка.

* * *

С гор на убранных лентами конях опускается красочная гуцульская свадьба. Навстречу ей поднимаются легковые машины. На новый мост первыми въезжают осыпанные зерном, сверкающие орденами молодые. И поют им горы, и поет им река свои предвесенние песни, и обогревают их любовью ласковые взгляды людей.

— Вот он, Михайло Гнатович, наш калиновый мост, — легко выскочил из машины Микола Сенчук. — Мост молодости и счастья.

На второй машине Олена Побережник сдерживает мужа:

— Лесь, не вылезай, ребенка застудишь.

— Не застужу, — бригадир осторожно просовывается в дверцу и под голосистое пение, под музыку высоко поднимает над головой сына. — Пусть он с первых дней видит солнце, и людей, и жизнь!

Держа Мариечку за руку, Василь вслушивается в эти слова пожилого человека и одновременно наблюдает, как с верховьев по Черемошу бешено несутся первые в этом году плоты.

Молодые гужылы стоят у тяжелых рулевых весел, как отлитые из бронзы, и кажется, что плывут они не к низовьям реки, а прямо в будущее.

Джерело https://royallib.com/book/stelmah_mihail/nad_cheremoshem.html